

Георгій Милевскій

Банда Зако́м

Романъ

Г. Ишевский

Ванда Заком

1961

All rights reserved

Все права сохраняются за автором

Herausgeber: Geo. Ishevsky, 245 — 11th Ave. Apt. 202,
San Francisco, Calif., U.S.A.

Druck: Buchdruckerei I. Baschkirzew, München 8, Hofangerstr. 73,
Printed in Germany

Посвящаю женщине.

Автор.

ПРЕДИСЛОВИЕ

— М о р ф и я ! — строго сказал доктор, отрываясь от искаженного судорогами боли лица Игоря Мравина.

— Что доложить командиру полка? — тихо спросил Карсавин.

— Что доложить! Что доложить! Требуется срочная операция в области сердца. Здесь ее мы сделать не можем. Я приму все меры к спасению Игоря, но творить чудеса не умею. Ранение серьезное. Положение почти безнадежное.

Сестра подала шприц, доктор склонился к больному. Карсавин последний раз взглянул в безжизненно бледное лицо друга. Он, как мертвец, лежал с закрытыми глазами. По потному лбу, около висков, изредка шевелились мелкие мускулы, выразители или физической боли, или последней мысли.

Через час Мравин пришел в сознание. Он открыл тяжелые веки глаз, и они встретились с голубыми глазами Ванды, смотревшими на него из рамки большого портрета.

— Позовите Андрея Борга, — тихо, как будто из другого мира, послышались слова умирающего.

Пришел Борг. Он тихо вошел в комнату, пропахшую лекарствами, и ужаснулся виду друга. Мравин почувствовал его приход, приоткрыл глаза и долго смотрел на него, словно хотел убедиться, что это он, а не кто-либо другой.

— Садись . . .

Борг сел у кровати и, не дыша, глядел в его лицо. Он понимал, что ему надо что-то сказать, но что именно он не знал, и продолжал молчать.

— Ухожу от вас . . .

— Не надо, Игорь. Бог не без милости.

— У Бога свои расчеты. Не нарушай Его арифметику.

Мравин долго молча лежал с открытыми глазами, выразившими глубокую мысль. Тихо вошел доктор.

— Андрей, положение Игоря исключительно тяжелое. Ему нужен полный покой, — шопотом сказал доктор.

В глазах Игоря отразился испуг. — Оставьте нас одних. Я хочу исповедываться.

Доктор посмотрел на Андрея, пожал плечами и тихо вышел из комнаты.

— Наклонись ближе. Я слаб. Громко не могу.

Борг приблизил свое лицо к лицу Игоря. Он не мог смотреть в его глаза. Он отвернул голову и снова встретился с его страдальческими глазами в разбитом зеркале шифоньера.

— Ты помнишь графиню Заком? Наш разговор? Мое слово тебе? Я не сдержал его. Прости.

Андрей пристально смотрел на шевелящиеся губы Игоря и напрягал слух, чтобы не пропустить ни одного слова.

— Одному тебе доверяю мою последнюю волю. Найди Ванду и скажи ей, что Мравин умер в охотничьем домике. Аминь.

Ночью Мравина в тяжелом состоянии отправили в Двинский военный госпиталь. Его сопровождал Карсавин.

ВАНДА ЗАКОМ

Предполагаемая женитьба графа Ромуальда Заком на Ванде Пашкевич была встречена в высшем польском обществе неодобрительно, и породила массу толков, сплетен и догадок, множившихся в беге времени и принявших ко дню свадьбы фантастические размеры и формы. Каждый считал своим долгом бесцеремонно вмешиваться в преддверие новой жизни графа, по своему осуждать его, делать свои выводы и заключения, хотя никто не знал и никогда не видел его невесты, постоянно живущей с отцом на юге России.

Светские салоны Варшавы открыто порицали графа за то, что он берет в жены не аристократку, и этим загрязняет старинный и знатный род графа Заком. Многочисленные претендентки, алчущие замужества и не раз стремившиеся поймать богатого графа в сети своего женского очарования, осуждали его поступок и с нескрываемым сарказмом называли будущую жизнь графа — «искусственным уравнением с двумя неизвестными, в котором жене 19, а мужу 50 лет.» Очень распространенный в Варшаве клуб холостяков искренно сожалел о потере своего старейшего члена и еще больше о возможной потере денег, которые, широким по натуре граф, тратил на клуб. И только сам Заком, пренебрегая доходившими до него слухами, был охвачен счастьем предсвадебной горячки.

Пышная свадьба со множеством приглашенных началась в костеле Св. Станислава и продолжалась в родовом замке графа, в Лозенках. Толпа любопытных окружила костел. Ежеминутно с разных сторон подъезжали кареты, ландо, парные и одиночные экипажи. Нарядные дамы с приподнятыми шлейфами торопливо передвигались по ступенькам широкой мраморной лестницы и радостно вступали в прохладу огромного костела, превратившегося в пеструю выставку оголенных плеч, шелка, шиффона, атласа, драгоценных камней, фраков и мундиров. Красавец граф, с сильно пробивающейся на висках сединой, в ожидании невесты стоял в кругу близких друзей мужчин. В костеле стоял тихий говор. Друг другу шопотом передавались последние сплетни, последние осуждения. Россыпью золота, огнями многочисленных свечей спокойно горел алтарь. Изнывающие от любопытства взоры всех были устремлены на плотно закрытую центральную дверь, через которую в храм должна была войти невеста.

На хорах молитвенно тихо зазвучал орган. Все встали. «Приехала.» «Приехала.» — слышалось кругом. Тысяча любопытных глаз встретила невесту. Она шла под руку с отцом по бархату нежно голубого ковра.

— Боже! Какая красавица! Какая юная! Ангел! — слышалось со всех сторон.

Ванда бледная, в белом, строго закрытом, платье, в пенящихся волнах широкой фаты, с продолговатым букетом белых цветов, сосредоточенно смотрела на сверкающий огнями алтарь. Выражение ее прекрасного юного лица, ее спокойного взгляда, отражало ясное сознание правдивости

своего поступка у первой грани новой жизни. Она опустилась на колени, прикрыла глаза и в короткой молитве преклонила голову.

— Отец! Я честно исполню свой обет, — чуть слышным шопотом пролепетала она, глядя отцу в глаза.

Он взял ее похолодевшую руку и передал подошедшему Ромуальду. Вышел ксендз, чистенький седой старичек. Он, не торопясь, отслужил короткую свадебную мессу, в теплом слове пожелал новобрачным счастливой жизни, улыбнулся ясными глазами и удалился. К новобрачным потянулась длинная цепь приглашенных с обычными в таких случаях пожеланиями: искренними, льстивыми, завистливыми. Начался долгий свадебный разъезд. Потухли огни костела. По домам разбрелась толпа любопытных.

Далеко за полночь пенистым шампанским, раскатами веселья, танцами шумел в Лозенках свадебный пир графа Ромуальда Заком. Ванда очаровала всех свежестью своей красоты, светским тактом, тонким умом и той притягивающей простотой, которая обычно располагает к себе людей, и которая в жизни дается только цельным натурам, натурам избранным. Простившись с гостями, молодые отбыли в Лондон. Еще до свадьбы Ромуальд предложил, и Ванда радостно согласилась посетить столицы мира. Она никогда не бывала в Европе.

Лондон встретил молодых неприветливым мелким, как пыль, дождем и грязно мутным от копоти непроницаемым туманом, промозглой тяжестью придавившим хрупкую натуру Ванды. Детство и юность она провела в Москве, в строгой закрытой

школе, и каждое лето гостила на юге России, в имении Бекетовка, где ее отец занимал должность управляющего. Там она поняла и полюбила солнце. Полюбила его яркость и теплоту. И сейчас ей не хватало его. На четвертый день пребывания в Лондоне она, капризно надув свои красивые губки, просто сказала мужу: — «Уедем в Париж. Я не могу без солнца. Я не хочу, чтобы начало нашей жизни было холодным и туманным.»

Ромуальд привлек к себе жену, поцеловал непокорный завиток волос у правого уха и поспешил в контору отеля, чтобы сделать необходимые распоряжения к их внезапному отъезду. Решено было покинуть Лондон вечером следующего дня, но вечерние газеты принесли приятные новости. Крупными буквами пестрели заголовки о том, что настойчивый юго-западный бриз к утру освободит Лондон от тумана, и что Дерби в Эпсоме будет разыграно при ясной и жаркой погоде. Заком остались на скачки. День Дерби, как предсказывали газеты, был не только жарким, а невыносимо душным, однако это не изменило спортивной традиции Англии. Изнывая от духоты, в королевской ложе присутствовал король со своей семьей. Налицо были: премьер министр, члены правительства и парламента, весь именитый и не именитый Лондон. Всюду белизной и свежестью дышали твердо накрахмаленные воротники, белые жилеты, серые и черные визитки и цилиндры. В память лорда Дерби сто тридцать второй год незыблемо жила традиция.

Приз Дерби, собравший 17 участников, разыгрался в жаркой борьбе у призового столба. Всю дистанцию скачки уверенно вела лошадь короля,

и только на последнем фуэрлонге к ней вплотную прилипла и на пол головы лишила первого приза рыжая кобылица сэра Армстронга. В антракте в королевской ложе королевская семья пила шампанское с победителями и за победителей. Заком еще три дня провели в Лондоне. Перед отъездом в Париж, Ромуальд купил жене и отправил в имение двух отлично выезженных англо-арабов.

Замелькали страны, столицы, первоклассные отели, курорты, новые люди, утонченная красота и нежность женщин, культура запада, смешение всех рас и всех наций. Осло, Копенгаген, Брюссель, Берлин, Париж, Мадрид, Венеция, Рим. Ванда впитывала в себя аромат культур каждой страны, и быстро бегущая жизнь отложила в ее душе первые впечатления. Норвегиядохнула холодной духовной чистотой, Бельгия, Дания и Голландия патриархальной семейностью, чопорностью и самовлюбленностью дышал Лондон, сталью холодного ума, предельной аккуратностью и дисциплиной блеснул тяжелый Берлин. Париж и парижане произвели на Ванду противоположное впечатление. Казалось, этим беспечным людям не знакома печаль, скорбь, грусть. Они всегда веселы, жизнерадостны. Легко и просто подходят к людям и так же легко забывают их. В Париже, на одном ужине, данном другом Ромуальда в роскошном ресторане на Вандомской площади, Ванда впервые почувствовала настойчивое поклонение мужчин, именно не мужчины, а мужчин, всех участников ужина. Причем, что поразило ее, не раз зажигало стыдливым румянцем ее лицо, что слова восхищения говорились совершенно открыто, звучали как торжественный гимн женской красоте, и она, нахо-

даясь в обществе людей высшего света, отлично зная французский язык, терялась в определении этого восхищения. То оно казалось ей распушенным цинизмом, то звучало мелодией чистого культа поклонения женщине.

Лирику в душе пробудила романтическая Испания, и привела в восторг нищая, поющая Италия. В поисках знаменитого профессора музыки, Альфредо Корси, у которого Ванда предполагала закончить шлифовку своего музыкального образования, они покинули Венецию и направились в Милан. В студии профессора им сообщили, что три летних месяца престарелый профессор уроков не дает и отдыхает в собственной вилле, в горах. Получив адрес, и указания, как к нему проехать, Заком отправились в дальнейшие поиски. Они обогнули голубое озеро Лаго Маджиоре, и живописная горная дорога привела их к небольшой белой вилле, как бы прилепленной к сочной зелени обнявших ее гор. Перед домом, словно соперничая друг с другом, яркими красками горели клумбы цветов. Карниз балкона, ласкаясь, обняла ползущая глициния, нежно бросая вниз синие грозди цветов.. Где-то за домом залаяла собака. Со ступенек открытой веранды навстречу прибывшим спустился маленького роста, сухой, но не сгорбленный старик с красивым породистым лицом и с зачесанными назад вьющимися седыми волосами.

— Альфредо Корси. Чем могу служить? — на итальянском языке спросил профессор.

Ванда не знала итальянского языка и на французском изложила цель своего визита. Профессор задумчиво опустил голову, как бы решая, что ответить. Минутное молчание было принято Ван-

дой как отказ. Она только собралась сказать слова извинения за причиненное беспокойство, когда Корси поднял голову и тепло спросил: — «Любимый композитор?»

— Шопен, — в радостном смущении ответила Ванда.

Корси жестом руки пригласил их следовать за ним. На веранде он познакомил их с женой, хуленькой светящейся старушкой, и они все по внутренней лестнице поднялись наверх и вошли в большую полукруглую комнату, залитую ярким солнцем. Обстановку комнаты составляли два концертных рояля, стоявших в противоположных углах комнаты и несколько легких кресел. В простенках между узких из целого стекла окон висели нарисованные маслом портреты композиторов.

Пока профессор искал в шкафчике ноты, Ванда переводила свой напряженный взгляд с одного портрета на другой, узнала Листа, Чайковского, Шопена, и в мозгу пронеслась мысль, — «Апостолы музыки.» Какая я маленькая, ничтожная. Я почти никого не знаю.»

Словно прочитав мысли Ванды, сзади подошел Корси и тихим голосом стал называть неизвестных ей творцов музыки: — «Иоганн Себастьян Бах, Арканджелло Корелли, Бетховен, Антонио Вивальди, Доминико Скарлатти. Большой музыкант 17-го века. Предельная красота и искренность гармонии.»

Он подвел Ванду к роялю и развернул ноты 2-го Скерцо Шопена. Ванда опустилась на круглый стул, поправила ноты и, почувствовав на себе пристальные взгляды апостолов музыки, растерялась. Она хорошо знала, любила это скерцо,

но сейчас не могла побороть охватившего ее волнения. Ложно и неуверенно прозвучала вступительная фраза. Корси отошел два шага от рояля и ниже опустил голову. Только к середине Ванда полностью овладела собой, эффектно передала виртуозный характер пьесы и закончила ее с подъемом и чувством.

— Перфекто! Перфекто! — воскликнул Корси, подходя к роялю.

— Только в руках нет правильного дыхания души. Где драма? Где лирика? Шопен так не писал, так не играл.

Он сел за рояль и проиграл, только что сыгранное Вандой скерцо. Она не спускала с него глаз и сразу поняла все свои ошибки. Отлично овладев виртуозностью пьесы, блеснув техникой, она недостаточно оттенила тонкие кружева драматизма и лирики.

— Поймите, милая барышня, вы никогда не должны играть для публики. Вы должны играть для них. Корси указал рукой на портреты и продолжал: — Должны играть Шопена для Шопена, Листа для Листа, Скарлатти для Скарлатти.

Он нервно прошел несколько шагов по комнате, резко остановился, и не сказав ни слова, низко опустил голову. В мыслях Ванды мелькнуло: — «Откажет».

— Надо работать... Много работать... Будем работать, — сказал Корси, вплотную подходя к Ванде.

— Спасибо, профессор, — с нескрываемой радостью воскликнула Ванда, протягивая к нему обе руки. Почувствовав теплоту рук Ванды, Корси ласково улыбнулся. В старческих глазах блесну-

ли огоньки радости. К роялю подошли Ромуальд и жена Корси.

— Только я могу преподавать летом, здесь. В дни моего отдыха, июль, август.

Он перевел взгляд на Ромуальда и как то виновато застенчиво продолжал: — Мы старики. Уже живем законом инерции жизни, ведущей нас к последней грани неизбежного. И так хочется, чтобы молодость, красивая, сильная, цветущая молодость взбудоражила остатки усталой жизни. Хочется хоть два месяца в году дышать иллюзией семьи. Вашей дочери я передам все свои знания. Я сотворю большого, великого музыканта. И вы ни о чем не должны беспокоиться. Это будет мой дар прекрасной молодости.

— Ни о чем, ни о чем, — воскликнула старушка, обнимая плечи Ванды.

— Синьорина будет принята нами, как дочь.

Ванда поцеловала морщинистую щеку старушки и пожала руку сияющему радостью профессору. После завтрака у Корси, Заком выехали в Рим и через несколько дней в Биарриц. Первоначально они предполагали вернуться домой через месяц, но уже кончался второй, и счастье новой жизни съело всякое представление о времени.

Сезон в Биаррице был в полном разгаре. Спокойной, ленивой жизнью жили средневековые замки, роскошные виллы, первоклассные отели и курорты. Несколько особняком держались коронованные особы, богатейшие люди мира, а тон кипучей жизни давали красивейшие женщины, крупного масштаба коммерческие и финансовые дельцы, квалифицированные авантюристы, международные шпионы, обоего пола продавцы и покупате-

ли любви. Ванду ошеломила переменчивая красота Бискайского залива, гордые и нежные отроги Пиренеев, блеск горячего солнца, удивленные взоры далеких озер, а вечерами в маленьких рестораниках на границе Испании тихий отзвук дрожащих струн гитар. Все дышало безмерной прелестью, и какая-то странная сила непонятной властью овладевала всем ее существом. Было какое-то колдовство в небе, в земле, в воде, приводившее ее в восхищение. Она, как распутившийся цветок, жадно пила чашу многогранных красот жизни. В мир рождалась женщина, и Ромуальд, широкий, знающий и любящий жизнь, уже не мог и не хотел остановить ее волшебного бега, бега счастья, бега призрачно вернувшейся молодости. Их отрезвила телеграмма управляющего имением, и через пять дней они вернулись в Польшу, в родовое имение графа — «Высокий Двор.»



Было еще светло. Клонившееся к закату солнце обнимало воздух розовой вуалью. После пылающего знойного дня, отсветом голубого опала сияли верхушки далекого соснового бора, и ароматом душистых трав дышала лиловая мгла цветущих долин. По мягкой полевой дороге, между пашен, созревших, но еще не скошенных, хлебов, быстро катилась коляска, запряженная парой сытых рослых лошадей.

— Как тих и прекрасен вечер нашего возвращения домой. Как прекрасна жизнь. Мне почему-то кажется, что она будет...

Ванда не договорила, что ей кажется. Бегущие навстречу, шуршащие колосья спелой ржи завладевали ее мыслями.

— Посмотри! Посмотри, Роми! Она кланяется нам. Что-то говорит. Ты слышишь ее шопот? Я не могу разобрать, что она говорит. А вон, налево, суебливый овес. Он тоже кланяется, тоже говорит, но как то совсем по другому. Посмотри, каким радостным синим огоньком нам улыбаются придорожные васильки, как весело смеются головки желтой ромашки. Как я люблю землю. Это папа научил меня любить ее бесконечный простор, ее краски, аромат. Папа всегда говорил, что через землю люди легче обретают духовную чистоту, что город загрязняет душу человека. Правда?

Восторженная лирика Ванды, так непосредственно и властно вырвавшаяся наружу, передалась Ромуальду. Он взял руку жены, нежно поцеловал ее и чуть слышно сказал: — Мы едем дорогой нашего счастья. Это наша рожь, наш овес, наши цветы. Они первый раз видят тебя. Они радуются нашему счастью.

Он остановился и, потонув в ласке ее голубых глаз, продолжал: — Мне было приятно узнать, что ты любишь жизнь имения. Вся моя работа, как я уже говорил тебе, сосредоточена в имении, и только нудное время осенних дождей и зиму я провожу в Варшаве, где приобщаюсь к культу шумного, большого города, изредка наезжая в имение. Больше на охоту. Осенью на перелетную дичь, зимой на пушного зверя.

— Как чудно! Я буду ездить с тобой. Я всегда сопровождала папу на охоту. Что ты смеешься? Я умею стрелять. Правда мне жаль всех этих зве-

рушек, в особенности беззащитную, почему-то всегда летящую на выстрел охотника, доверчивую птицу, но азарт выстрела по живой цели берет верх. Я люблю охоту.

Спугнув стаю отяжелевших от придорожного корма перепелок, экипаж въехал в редкий расчищенный перелесок. Лошади пошли шагом. Мягкие рессоры мерно покачивали экипаж по оголенным корням деревьев, издали напоминавшим невозмутимых и надменных змей. Лес редел. Коляска выбежала на шоссейную дорогу, обсаженную по сторонам серебристыми пирамидальными тополями. Справа вдали блеснуло зеркало воды небольшого озера. Белый барский дом с трех сторон тонул в сочной зелени леса.

— «Высокий Двор», — мечтательно глядя вдаль, сказал Ромуальд.

Он рассказал жене историю имения, перечислил имена и заслуги своих предков, более подробно остановился на жизни наиболее яркого из них, его отца, и после большого раздумья, с оттенком горечи и сожаленья, закончил: — «Отец был несчастлив в семейной жизни».

Ванда, без слов, коснулась руки мужа и через это нежное касание, разлившееся теплом по крови, Ромуальд почувствовал и уверовал в свое счастье. Прогредев копытами по небольшому деревянному мосту, лошади вынесли коляску на пригорок, и она скоро въехала в большие ворота имения. Лошади сами остановились и, почувствовав свободные вожжи, повернули потные головы к седокам, словно сказали: — «Приехали». С козел соскочил лакей в летней ливрее и помог Ванде выйти из экипажа. Ромуальд взял жену под руку. Они шли

по мягкому ковру зелени, среди множества красных, желтых, палевых, голубых цветов. Журчащая струя фонтана бросала вверх хрустальный лепет голубой воды и сыпала вниз веселые алмазные блески. По обе стороны большой открытой веранды на ступеньках стояли какие-то незнакомые Ванде люди. Они ласково улыбались ей, что-то говорили, бросали вверх белые цветы и почти-точно кланялись, как бы одобряли выбор их хозяина. Ванда радостно впитывала в себя их восхищенные взоры.

— Вот мы и дома, — сказал Ромуальд, вводя жену в застекленную с трех сторон просторную столовую. Четвертая сторона, смотревшая на вошедших, представляла собой искусно вделанные в стену шкапы, горевшие искрами фамильного серебра и хрусталя. Посреди комнаты тщательно и со вкусом был накрыт к ужину овальный стол. Спутники жизни, живые цветы, своим ароматным цветением разрежали атмосферу строгой холодности комнаты. Они прошли тяжелый, как показалось Ванде, несколько сумрачный кабинет Ромуальда, смежную с ним розовую в стиле Людовика 16-го гостиную и вошли в библиотеку. Ванда оставилась, осматривая полки с ровными рядами книг, воплощения человеческого ума и мысли.

— Ты знаешь, Роми, почему-то каждая библиотека напоминает мне тюрьму. Может быть очень образованную тюрьму, в которой авторы всех этих книг за свои мысли и слова отбывают пожизненное тюремное заключение. Тебе не кажется это?

— Я никогда не слышал такого оригинального,

и я бы сказал меткого сравнения, — улыбаясь ответил Ромуальд, обнимая жену.

— А Пушкин есть?

— Точно не помню, кажется есть. В польском переводе.

— Гения нельзя перевести. Его может перевести только гений. А их так мало. Моим маленьким миром владеют два гения: Шопен в музыке и Пушкин в поэзии.

— Следующую поездку в Петербург я привезу тебе полное собрание сочинений Пушкина.

Они вошли в картинную галерею, где каждое произведение живописи и скульптуры останавливало на себе внимание. Они были созданы большими мастерами резца и кисти. Узкий корридор привел их в портретную. Прямо, из тяжелой рамы большого во весь рост портрета, на них смотрели грустные глаза мужчины в шитом золотом камзоле. Ванда сразу почувствовала необъяснимую силу притяжения этих добрых глаз. От них нельзя было оторваться.

— Отец? — тихо, не поворачивая головы, спросила Ванда.

— Отец, — чуть слышным эхом отозвался Ромуальд.

— Как ты похож на него. Ты взял от него все: нос, рот, овал лица, лоб, форму головы, упрямую складку между бровей. Вот только в глазах у тебя нет той бездонной грусти, которая, когда ты смотришь в них, не отпускает тебя, а полностью погружает в искание тайны этой грусти. А где портрет мамы? Я хочу посмотреть в ее глаза. Может быть в них я найду разгадку этой грустной тайны.

Ромуальд не ответил на вопрос жены и не потому, что в галлерее не было портрета матери, а потому что вопрос Ванды столкнулся с его созревшей мыслью, и она выразилась словами: — «Я последний в роде Заком».

— Ты не будешь последним, — тепло сказала Ванда ласкаясь к мужу.

Они прошли ряд еще каких-то комнат, и когда вошли в огромный двухсветный колонный зал, Ванда прижалась к мужу и с трепетным волнением сказала: — Мне холодно. Я не чувствую тепла в этих больших красивых комнатах навсегда затонувшего чужого счастья и жизни. Я маленькая и хочу своего маленького счастья, теплого, солнечного. Я боюсь, что не найду его в холоде этих комнат. Они мне кажутся мертвыми.

— Ты вернешь их к жизни, согреешь своим теплом, — ответил Ромуальд привлекая к себе жену.

— А впрочем я ожидал, что первое впечатление будет именно таким...

— Ты прости меня, что я так сказала, но я всегда говорю то, что чувствую. Это честнее. Ты не сердишься?

— Конечно нет. На что? Я ожидал этого и все предусмотрел. Пойдем! Пойдем! Я покажу тебе мой свадебный подарок.

— Как, еще? Да ты меня уже и так всю задал.

— Я держал его в тайне от тебя. Ни разу не обмолвился. Наши комнаты наверху мы осмотрим потом. Пойдем!

Они пересекли зеленую лужайку и углубились в тенистую липовую аллею. Справа, на опушке

расчищенного леса мелькнул деревенский домик из цельных бревен. Косые лучи солнца ласкали блеск его стен, покрытых коричневым лаком. Он весь блестел, как новая, еще не сломанная, игрушка. Аллея перешла в узкую тропинку с небольшим уклоном в сторону дома. Мелькнули клумбы ярких цветов. Они вошли в дом, прошли переднюю и по мягкому светло коричневому ковру вошли в маленькую, со вкусом обставленную гостиную. В левом углу стоял небольшой концертный рояль.

— Как все красиво, все чудно. Вот здесь я чувствую тепло. Здесь я не потеряю своего маленького счастья. В каждой вещи я чувствую тебя. Твой вкус, твою заботу, твою . . .

— Л ю б о в ь , — закончил Ромуальд.

— Спасибо, — восторженно сказала Ванда, обнимая мужа и целуя его в щеку.

— Ты слишком балуешь свою жену. Ты не боишься испортить меня? Сделать меня капризной, требовательной, ненасытной?

Она перешла к роялю, правой рукой проиграла несложное арпеджио и, повернувшись к Ромуальду, спросила: — Ты помнишь, что сказал Корси? Надо работать . . . Будем работать. А эти любопытные листья, заглядывающие в окно, будут одни слушать меня.

Они вошли в тоже небольшую, синюю с серебром, столовую. Из груди Ванды вырвался новый крик восторга.

— А где же спальня, кухня, ванная? — капризно спросила она, подымая на мужа недоумевающие удивленные глаза. Она сказала это так непосредственно и просто, что Ромуальд, охвачен-

ный порывом нежности, подошел к ней, поднял на руки ее хрупкое тело, подошел к сплошной стене, нажал невидимую кнопку, и две половинки стены бесшумно побежали в стороны, открывая картину голубой, как весенняя незабудка, спальни.

— Боже, какая роскошь! Какая нежная красота! — повторяла она, осыпая мужа частыми поцелуями.

— Я сказала тебе, что ты меня сделаешь ненасытной, и я уже иду в разрез твоих желаний, я хочу, чтобы наш первый ужин был здесь. Хочу тепла. Хочу счастья. Можно?

— Тебе все можно, — радостно ответил Ромуальд.

— Ты наверно хочешь переодеться с дороги? Я пошлю тебе Аленю. Ты дашь ей все распоряжения. Я вернусь через час. Надо повидать управляющего. На ходу узнать все новости, скопившиеся за мое отсутствие.

— Но помни, я отпускаю тебя только на час, — сделав строгую гримасу, сказала Ванда.

Ушел Ромуальд. До прихода Алени Ванда еще раз осмотрела все комнаты, еще раз захлебнулась молчаливым восторгом созерцания каждой вещи, каждого пустячка, тонко продуманного и, как казалось ей, излучающего тепло счастья. Она наскоро приняла ванну, надела летнее простенькое платье, помогла Алене накрыть на стол, поставила в хрустальную вазу присланные Ромуальдом розы и, томимая ожиданием, опустилась в кресло. Сердце билось счастливой ясностью мысли.

Вернулся Ромуальд. Он радостно вошел в комнату и воскликнул: — Как ожило все кругом. Все

эти вещи сразу приняли какой-то другой смысл. И этот смысл — ты.

— А что я тебе говорила? Что здесь будет теплее. Ты всегда слушайся меня.

— Во всем?

— Я еще не знаю. Может быть да, может быть нет, — с кокетливой улыбкой ответила Ванда.

Послышался стук в дверь. В комнату вошел степенный старик лакей. Он почтительно поклонился в сторону Ванды и без тени какого либо угодничества, сказал: — Долго здравствовать, ваше сиятельство. Ужин подан.

— Рафаил! Вы принесете все сюда и можете идти. Не забудьте крепкого кофе, — закончил Ромуальд.

— А кто же будет прислуживать их сиятельству?

— Сегодня, я сам.

— Что будет пить их сиятельство? — почтительно спросил лакей.

— Об этом не беспокойся. Мы все найдем здесь, — весело ответил Ромуальд, открывая нижнюю часть серванта, заполненного разного размера и разных форм бутылками.

— Слушаюсь, — с чуть уловимой ноткой досады ответил Рафаил.

— Алень, вы мне больше не нужны. Я увижу вас завтра, — с доброй улыбкой сказала Ванда.

Через пятнадцать минут Заком сели за стол.

— Наш первый ужин. Первый — дома. Вот и вечер наступил, а солнечно кругом... ярко... тепло... Тебе тепло?

— Разве может быть около тебя холодно. Ты

мое солнце. И где бы я ни был, я всегда буду чувствовать твою теплоту.

Ромуальд встал, вынул из вазы одну пунцовую розу, короче оборвал стебель, поцеловал у правого уха жены непокорный завиток волос и украсил его цветком.

— Нет, ты садись. Иначе мы останемся голодными. Я есть хочу. Ты сам сказал Рафаилу, что позаботишься обо мне.

Ромуальд налил в бокалы белого вина и опустился на свой стул.

— Ты лучше скажи мне, как назовем мы этот домик?

— Я правда не думал об этом. Все мои мысли были направлены к тому, чтобы он понравился тебе.

— Твои мысли были очень хорошие. Знаешь что!? Назовем его: — «Маленький высокий двор». В том доме будет большой, а в этом маленький. Нет, не подходит. Маленький и высокий, не подходит. А если... «Домик маленького счастья»? Ведь я же маленькая и хочу маленького счастья. Тоже не подходит. Счастье не может быть маленьким. Ты согласен? Ну, придумай чтонибудь. Ну, что же ты молчишь?

— Восхищаюсь тобой... Назовем его — «Охотничий домик».

— Чудно! Прекрасно! Охотничий домик! Ты понимаешь, как приятно будет после охоты с близкими друзьями вернуться именно сюда. Ведь охота разделяется на две части: сама охота и разговоры после охоты. Я так люблю их. Они всегда такие веселые, смешные. Ты согласен со мной?

— Вполне. Никаких возражений.

— Граф Заком, ваша жена хочет шампанского.
Ромуальд наполнил бокалы искрами шипящего вина.

— За охотничий домик! — радостно воскликнул Ромуальд.

— За счастье охотничьего домика!

* *

*

Так, у охотничьего домика взяла свой исток река новой жизни. Два ручейка, разные по мысли, по опыту жизни, по возрасту слились в одно и потекли вместе. Пронизанная светом любви с одной стороны и уважением с другой, река вольно понесла по жизни струи чистого кристалла, и в ее стремительном беге уже нельзя было различить воду мужа и воду жены.

Какой расточительный каскад радостей или горестей принесет течение этой реки, не знал ни Ромуальд, ни Ванда. Сохранит-ли она во времени спокойный уровень, или могучей стихией выйдет из берегов, все разрушит, ломает, погубит, не знал никто.

Забыв роскошь и почет, окружавшие ее, неуверенная, еще не сложившая своего постоянного русла, понесла она свои маленькие воды по всем службам огромного имения. Забежала в овраг водяной мельницы, радостно умылась веселыми брызгами, что день и ночь слетают с мельничных колес, всем улыбнулась, лаской нескольких фраз лизнула прачек, что у реки полощут господское белье. Вбежала на откос к громаде лесопильного завода, надышалась смолистой пылью только что распиленных досок, испугалась стальной мелодии огромных пил. Издалека взглянула на уродливый

остов строящегося завода, стонущего под ударами топоров и молотков. Надолго задержалась на птичьем дворе, с любопытством разглядывая редкие породы кур, гусей, индеек, павлинов, дымчатых, коричневых, белых голубей. Радостно поплыла к искусственным садкам для форели, через прозрачную воду наблюдала за их шаловливой игрой. Перекинулась на пашни, где косари снимали золотистую пшеницу, рожь, овес. Задумалась над словами Ромуальда: — «Мы едем дорогой нашего счастья. Это наша рожь, наш овес, наши цветы». Потекла к заливным лугам, нежилась в душистых стогах только что скошенного сена, вдыхала аромат трав и, окруженная молчанием и покоем, внимала святой песне далекого благовеста, далекого костела. Тихой гладью воды задержалась в огромной оранжерее, где старик садовник, Игнат, единственный, кого она упросила отца отпустить с собой из Бекетовки, пытливо трудился над выращиванием редких цветов. Вздохнула воздухом душных теплиц, пожалела цветы, которым чужд свежий воздух, улыбка весны. Не упустила спросить старика, как его устроили? Всем-ли он доволен? В чем нуждается?

Перекинулась к конскому заводу и, казалось, в семье рыжих, караковых, гнедых лошадей нашла свою стихию. Она любила лошадь и сейчас не могла оторваться от умных глаз, разглядывавших ее через решетчатые двери денников, от бархатных нервных губ, ищущих ласки. Но вдруг, разбираясь в мыслях сегодняшнего дня, а их было так много, она живо почувствовала, что она нужна людям, всем этим новым людям, которых она только-что видела, с которыми говорила, кото-

рые работают у них, и ласковым тихим потоком понесла свои воды в убогие хижины, коснулась их нужд, обняла их болезни, обмыла сверкающей пеной ласки маленьких детишек и, раздарив везде избыток своего тепла, усталая вернулась в охотничий домик.

Ромуальд с нескрываемым восхищением следил за первыми, самостоятельными шагами жены в имении. Он впервые почувствовал ее в каком-то новом свете, впервые так ясно понял беспредельность чистоты и цельности ее честной и прямой натуры. Как-то после тяжелого дня за ужином Ванда, без цели какого либо упрека, просто сказала мужу: — Нам надо, чтобы у нас в имении был постоянный врач. Много детей. Сегодня человек здоров, а завтра болен. А доктор будет только через две недели.

— Я уже думал об этом, думал не раз, но как-то руки не доходят. Я знаю, это моя вина.

— Ты ничего не будешь иметь против, если я это сделаю сама?

— Умница моя, кроме благодарности, ничего. Между прочим нам надо навестить окрестных соседей-помещиков. Среди них много моих старых друзей. Некоторые, как Желтовские, Пратт были на свадьбе.

И река жизни, изменив свое домашнее русло, потекла по дальним имениям Булинских, Пратт, Браницких, Гогенлоэ, Желтовских, оставляя везде блеск своих струй, капель, блесков, и радостно принимая в свои маленькие воды ручейки их жизни.

Прошел год, и река уже мчала свои полые воды мощным потоком молодости, зажгла огни жиз-

ни в старинном мертвом замке. Зажурчала, забури-
лила, зазвенела смехом, музыкой, танцами, игра-
ми, пикниками. Воскрес к жизни Высокий Двор,
воскрес к жизни последний в роде Заком. Он, по-
молодевший, легко плыл в весенней воде своей
жены.

Как прекрасно было их долгое пятилетнее по-
ловодье, когда берега мужа и жены цвели одними
цветами желаний, омывались одной водой, в оше-
ломляющем беге которой чувствовалась необычай-
ная любовь к прозрачному. Она текла ясной стру-
ей взаимного понимания, чистой мыслью верности,
красоты, уважения. За пять лет ее воды ни разу
не коснулось покрывало тумана. Она уже устано-
вила свое неизменное русло. Ранней весной, после
таяния снегов, она радостно освобождалась от
льда, принимала притоки соседей и, взбухшей ве-
сенней водой, снова шумела, смеялась, журчала
молодой жизнью. В конце июня фарватер реки у
Высокого Двора мелел и, оставив разноцветные
маяки, река жизни несла свои воды на юг, в горы
Италии, к старикам Корси. Два месяца жила она
тихой водой своей музыки и в начале сентября,
сложив ноты, мчалась на юг Франции или Испа-
нии, где ее уже ждал соскучившийся Ромуальд.
Отдохнув месяц, она возвращалась в Высокий
Двор, в тиши созерцала золотой листопад осени,
устраивала праздник для детей и уносила свои
воды в Варшаву.

Шумная жизнь столицы царства польского не
была похожа на жизнь имения. Она не имела пре-
лести деревенской простоты и очарования и очень
ко многому обязывала Ванду. Необходимые Ро-
муальду в его разносторонней коммерческой дея-

тельности приемы, обеды, ужины сменялись театрами, концертами, скачками, балами, встречами с новыми знаменитостями искусства и как всегда, прилипшими к жизни просто случайными людьми.

Ванда входила в пору, когда прекрасная молодая девушка, выйдя замуж, расцветала в обаятельную женщину, всюду вызывающую тайное или открытое поклонение мужчин, скрытую зависть женщин, рождающую восхищения, дерзания и таящую в себе необъяснимую силу притяжения. Она шла полосой своей весны, когда все ново, все радостно, когда цветет женщина.

Пошел седьмой год их счастливой жизни. Ванда, последний раз поехала к Корси. Она заканчивала свое музыкальное образование и для закрытого экзаменационного концерта выбрала трудный технически второй концерт Шопена. Она уже неделю жила в горах Италии. Стояли чудные дни, кроткие и ясные. И на душе у нее было ясно. Однако горечи последнего письма Ромуальда, в котором он сожалел, что не может присутствовать на ее экзамене, уже растворилось в безбрежной синеве бездонного неба. До экзамена оставалось пять дней, но Ванда, хотя и чувствовала себя ученицей, нисколько не волновалась. Она была уверена в себе и во время своих ежедневных упражнений уже не робела от сумрачных взоров апостолов музыки.

Подошел день концерта. К вечеру стали съезжаться личные друзья Корси, с некоторыми из них Ванда была уже знакома. Из Милана приехали два профессора музыки и с ними лучший и очень строгий критик. Из Парижа прибыл бывший ученик Корси, Рауль Лаббэ, молодой композитор

и большой знаток Шопена. Все собрались наверху, в концертном зале. Ванда была в светло розовом открытом платье. Три пунцовых розы мягко свисали с левого плеча и подчеркивали розоватый мрамор ее прекрасного тела, шеи, рук. Как отсвет от роз, легкий румянец покрывал ее щеки, касался мочек маленьких ушей и гас в горящих нервным блеском глазах. Она была необыкновенно прекрасна своей красивой молодостью.

В воздухе еще держался последний заключительный аккорд, когда гости, вскочив с своих мест зашумели поздравлениями и восторгами. Все говорили сразу, и в общем шуме трудно было что-либо понять. Пили шампанское, а счастливая Ванда, поверх колышающихся голов, протянутых рук, радостно пила с портрета снисходительную улыбку Фредерика Шопена. Все спустились вниз, в столовую и сели за нарядно накрытый стол.

— Ну, а теперь, когда шум апплодисментов стих, критиковать: — начал музыкальный критик с холемым лицом и с чуть седеющей, тоже холеной бородкой.

— Люблю критиковать за столом. С вином и мысли, и слова, и критика острее. А вот в первой части концерта, барыня, упустили акцент на фа диез.

Ванда удивленно посмотрела на него, словно спрашивала: — «На каком фа диез? Там так много фа диез».

— Вот в этом месте.

Он с правильной тональностью пропел маленький кусочек мелодии, взял акцент на фа диез, и Ванда почувствовала, что он прав.

— Он не написан в нотах, а дать его надо.

Дать душой, сердцем. Но это все пустяки. Просто придирка для первого знакомства. И все же непостижимо . . .

Он не торопясь выпил, закусил, вытер салфеткой губы и, чувствуя свое преимущественное право критиковать, продолжал: — Всем нам хорошо известно, что в искусстве, в любой форме искусства, нет предела лучшему. Неважно, что вы на две октавы перескочили многих, уже признанных, пианистов. Может случиться, что кто-то и вас перескочит на октаву. Непостижимо то, как вы могли так правдиво передать драматизм первой части концерта. Ведь вам 26—27 лет. Какие драмы вы видели в жизни? Царапины, а не драмы. Драмы еще будут, но они обычно навещают человека в зрелом возрасте, когда разум идет в разрез с мочалками изношенных нервов и глупо разбазаренной по жизни воли. А вы сумели передать драму Шопена. Непостижимо.

— Я был потрясен правдивостью передачи первой части концерта, ясной, выпуклой правдивостью, — начал седой профессор.

— Ведь эту часть концерта сносно проходит из тысячи один. Музыкальный риф, а вы, почувствовав глубину музыки, прошли его без аварии. Дорогой Альфредо, я знаю, что вы хотите возразить. Этому научить нельзя. Школа этого не дает. Это искра свыше.

Он повернулся к Ванде и продолжал: — На небосклоне музыки, вы новая народившаяся звезда. Имейте ввиду, что вечны только созвездия. Звезды очень часто имеют короткий путь. Засияют и погаснут. Вы подошли к моменту вашего сияния, и вы должны сиять всему миру.

— Я не предполагаю быть профессиональной концертанткой, — застенчиво возразила Ванда.

— У вас на это нет права. Поймите, нет. Вы должны принадлежать людям. Не оставляйте нас сирыми, — резко и безапелляционно вставил музыкальный критик.

— Служение искусству это что-то необыкновенно большое, — начал Лаббэ. Это молитва человеческой души. И вот сегодня музыку вашей молитвы вы дали нам. Монах, принимая постриг, отрывается от мира и отдает свою душу кому-то высшему, кого люди называют Богом. Отдайте вашу душу искусству и служите людям.

— Я к сожалению этого сделать не могу, потому что у меня одна душа, и я ее уже отдала, — с улыбкой возразила Ванда.

— К о м у ? — через стол спросил критик.

— М у ж у .

— Против этого трудно возражать, но надо искать выхода, и его можно найти, — не унимался критик.

Во дворе залаяла собака. Корси поспешил в сад и через минуту вернулся с телеграммой для Ванды.

— Наверно от господина Заком. Поздравление и пожелание успеха, — радостно сказал Корси, вручая телеграмму критику для передачи Ванде.

— Возможно. В последнем письме Ромуальд писал, что срочные дела мешают ему разделить успех моего экзамена.

— Разрешите огласить!? — спросил критик, беря из рук Корси телеграмму.

— Пожалуйста, — весело ответила Ванда.

Критик встал, принял торжественную позу и

не торопясь развернул телеграмму. Его голова низко опустилась, губы непроизвольно сложились в скорбную гримасу. Он растерянно вертел в руках телеграмму и не знал что ему делать. Его самоуверенная фигура выражала жалкую беспомощность.

— Чтонибудь случилось с Ромуальдом? — в тревоге спросила Ванда, беря телеграмму:

«Отец безнадежен. Срочно выезжай
Я встречу тебя в Бекетовке.

Ромуальд».

Ванда порывисто встала. Остановившиеся расширенные глаза смотрели куда-то в пространство.

— Простите, я пойду к себе. Мне хочется быть одной.

Корси поспешили за ней. В столовой застыла тишина нежданного горя.

— Отец безнадежен, — слышались тихие слова критика.

— Их надо было написать, чтобы подготовить к уже совершившейся смерти. В моменте жизни столкнулись радость успеха и горе потери. А я, старый дурак, привязался с каким-то акцентом на фа диез. Глупо. В аккорде смерти нет никаких акцентов, нет диезов, — закончил критик, ниже опускающая голову.

Утренним экспрессом Ванда выехала в Бекетовку.

Обмелела река. Грусть убывающей воды потушила огни жизни в замке Высокий Двор. Мерцанием тихой лампы жил охотничий домик. Черный креп прикрыл засохшую траву, увядшие цветы. С оголенных деревьев, к низкой стоячей воде, как птицы, пугливо слетали молчаливые пожел-

тевшие листья осени. Даже в солнечный ласковый день все казалось угрюмо и темно.

Ни теплая забота и ласка Ромуальда, ни журчащие состраданием ручейки многочисленных друзей не могли поднять воды жизни обмелевшей реки. Она катастрофически шла на убыль и тихой заводью обступила жизнь Ванды. Все плыло как-то поверх пустоты ее маленького мира, мира мыслей и сомнений, охвативших ее. Казалось вечный мрак уже никогда не рассеется.

Ванда не знала ласки матери. Ее мать умерла после родов и может быть поэтому Ванда так болезненно любила отца. Она взяла от него ясность разума и видела в нем какой-то правильный и честный закон жизни. И теперь, потеряв его, она разумом примирилась с его уходом. Ее существо бунтовало против того, что этот жестокий закон ухода из жизни унес последнего, кому она могла доверить тайны своих сомнений. Доверить их мужу она не могла. Он сам был причиной этих сомнений. Она замкнулась в маленький мир своих мыслей и очень скоро поняла могучую силу душевной пустоты и одиночества. Вдали от людских слов, смеха, суеты, она любила, закрыв глаза, пить трепетную сладость молчания. Ей казалось, что в нем растворялись онемелые мысли ее сомнений. Ромуальд начинал серьезно беспокоиться ее состоянием.

Умерла белая холодная зима. Ликующий зов весны коснулся позеленевших лугов, долин, леса. Сбросив вынужденный плен зимы, первыми зацвели гроздьями желтых цветов старые клены. Береза опустила вниз свои сережки. После тепла буйно и ненасытно зацвела лиловая сирень и со-

перничая с ней яркоцветным дыханием ожили анемоны, гиацинты. На сладость цветов летели изголодавшиеся за долгую зиму пчелы. Все пело . . . все цвело . . . все звало к жизни.

На закате весны в Высокий Двор, как обещали, приехали погостить Корси. Река жизни, набирая потерянные воды, текла тихим, добрым потоком. Ванда заметно отогрелась. Ромуальд радовался ее возвращению к жизни, и конечно, без тени какого либо ревностного чувства, приписывал воскресение Ванды всецело старикам Корси. Но он ошибался. Корси являлись только косвенным возбудителем душевного перелома Ванды. В своих горестных мыслях она ясно поняла, что каждый человек, пришедший в мир, должен оставить его, и что никому не дано знать часа своего ухода. Иные представляют мир в цветущей молодости, иные в глубокой старости. За шесть лет она полюбила духовную чистоту этих беленьких чистеньких старичков, и, обнимая их на вокзале, она сердцем почувствовала, что их жизнь уже ограничена днями. Не важно, пусть это будет три, пять, десять лет, но в сравнении с прожитой жизнью, это маленькие дни. Ее охватила неутолимая, ненасытная жажда добра. И в этом неисчерпаемом полете добра, в стремлении сделать их каждый день ясным, ласковым, сверкающим и растворилось горе Ванды. Она возила два раза Корси в Варшаву. Они осматривали музеи, картинные галереи, исторические памятники, посещали симфонические концерты, рестораны, скачки. В имении она перезнакомила их со всеми помещиками-друзьями, и они везде пили тепло ласки и внимания.

Прошло полтора месяца, и Корси стали соби-

ратся домой, но Ванда и Ромуальд категорически запротестовали, и старики уступили их настойчивым просьбам и остались еще на месяц. Как-то на вечерней выводке лошадей, которых очень любил Корси, Ромуальд сказал ему: — Дорогой Альфредо! А ведь у меня к вам есть большая просьба.

— Буду рад исполнить ее, если она не превысит моих возможностей.

— Мне кажется, не превысит. Я бесконечно благодарен, что вы и ваша супруга воскресили Ванду к жизни. Каюсь, я этого сделать не сумел, и теперь мне хочется закрепить это воскресение. Мне хочется в имении дать симфонический концерт, в котором приняла-бы участие Ванда. Вы понимаете, если эта идея будет исходить от меня, я рискую возможным отказом, если от вас — соглашiem.

— Приятная, но тяжелая просьба, в которой, мне кажется, вы переоцениваете мои возможности. Душа Ванды сложная, и мне думается, что для полного восприятия жизни она еще не совсем готова. Время не подошло. А психологически совершенно правильный ход. Ведь каждое горе должно сгореть, и огонь музыки, огонь личного успеха, а он несомненно будет, может оказаться тем пеплом, который притушит огонь горя. Во всяком случае, вы подымайте этот вопрос, а я, как сумею, поддержу вас.

Ужин был в охотничьем домике. В открытые окна вливалась свежая прохлада вечера, напоенная запахом цветов. Альфредо был в хорошем настроении и всех смешил эпизодами своей долголетней музыкальной практики. Было просто и весело.

— А как вы думаете, Альфредо, не устроить

ли нам, перед вашим отъездом в Италию, симфонический концерт? Здесь в имении, — спросил Ромуальд.

— Идея прекрасная, дорогой Ромуальд, но едва ли легко осуществимая.

— Почему? — возразила Ванда. — Я вполне поддерживаю желание Ромуальда. Как чудно. Это будет венец нашей долгой музыкальной деятельности, только он гармонией музыки зацветет не в Италии, а в Польше.

— И ты несомненно примешь в нем участие? — спросил Ромуальд.

— Я? Нет... нет... нет. Да я уже совсем разучилась играть.

— А если я буду просить вас? — глядя в глаза Ванды тепло сказал Корси, делая ударение на «я».

— Милый Альфредо, мне так не легко огорчить вас отказом, но лучше, когданибудь, в другое время.

— А если я буду дирижировать оркестром, а вы будете играть 2-й концерт Шопена?

Почувствовав в тонком тактическом ходе Корси неминуемое согласие жены, Ромуальд восхищенно смотрел в ее глаза.

— Мне нечем защищаться. Мой добрый учитель музыки и жизни, вы обезоружили меня. Я побеждена.

Она встала, поцеловала сияющую старушку Корси, Альфредо, мужа. Пили шампанское за будущий успех. Первый раз, после смерти отца, в охотничьем домике слышались тихие звуки рояля. Играл Альфредо Корси.

Прошло двадцать дней. Яркими огнями люстр горел главный зал замка — Высокий Двор. Выс-

ший свет Варшавы, личные друзья, представители музыкального мира, критики, богема прослушали первое отделение концерта под дирижерством маэстро Варшавского симфонического оркестра, наградив исполнителей долгими аплодисментами. Во втором отделении Ванда играла 2-й концерт Шопена, оркестром дирижировал престарелый Альфредо Корси. В искусстве редко бывают случаи, когда публика, вся публика, разная по степени развития и художественного восприятия, теряет контроль над охватившим ее восторгом. Успех Ванды и Корси был потрясающий, только Ванда пила яд своего успеха первый раз в жизни, а Альфредо Корси — последний.

Пышный ужин протекал непринужденно и весело. Во всем, даже в мелочах, чувствовался вкус, размах, широта Ромуальда. На хорах слышались звуки первого вальса. Молодежь повскакивала с своих мест, за ними потянулись пожилые люди, и зал закружился разноцветной каруселью. Ванда танцевала с Ромуальдом. Река жизни вошла в свои берега.



Через неделю Корси уехали в Италию, по срочным делам в Петербург был вызван Ромуальд. Ванда осталась одна и до отъезда в Варшаву решила устроить в имении детский праздник. Этот праздник, установленный Вандой, уже сделался традицией Высокого Двора и обычно проводился сразу по окончании полевых работ. Его любили хозяева, служащие и рабочие и с повышенным интересом ждали дети.

Обычно всю подготовительную работу к празднику и сам праздник, делившийся на три части: танцы и игры с призами, ужин, и апофеоз раздачи детям подарков, Ванда и Ромуальд проводили вместе. Сейчас, ввиду отсутствия Ромуальда, вся нелегкая работа упала на Ванду, к тому же год оказался особо урожайным и на празднике должны были присутствовать 11 девочек и 8 мальчиков в возрасте от одного года до пяти лет.

Ведь каждому надо было купить игрушку, такую игрушку, которая бы понравилась ребенку, внесла-бы в его маленький игрушечный мир иллюзию радости и счастья и соответствовала его возрасту. Ванда знала всех детей и всегда уверяла себя, что любит их всех одинаково, любит, потому что они дети. Она не хотела сознаться себе в том, что ближе и теплее других ей был двухлетний Стасик, застенчивый, как девочка, хрупкий Стасик с курчавой русой головой и с большими, всегда удивленными, голубыми глазами. Но почему-то ему всегда отдавалась большая забота и ласка и лучшая игрушка. Составив большой список детей, Ванда поехала в Варшаву покупать игрушки. И на этот раз, как-то совсем случайно, лучшая игрушка была куплена для Стасика. Это был клоун примерно его роста. Яркоцветные ромбы костюма с широкими рукавами и штанишками красиво облегали его искусственное мягкое тельце. Смешная напудренная рожица с мигающими острыми глазками, с красной точкой на кончике носа, шаловливо улыбалась. Из под остроконечного клоунского колпака с небольшим звонким колокольчиком на верхушке, выбивались ровные кольца русых, как у Стасика, кудрей. Ванда бережно

опустила игрушку в большую светло-желтую коробку, положила мешечек леденцов, чтобы не было скучно клоуну, и перевязала коробку зеленой лентой с большим бантом.

Вечер праздника выдался теплый и ясный. Уходящее солнце щедро бросало позолоту своего тепла на зеленую лужайку, на яркие группы застенчивых детишек, на нарядные столы, накрытые в беседке. Начались игры, которыми вместо Ромуальда руководил монументальный Рафаил, и сразу веселый рой детворы зажужжал как роившийся пчельник. Все завертелось, задвигалось, зашумело. Многоголосыми радостными криками и детским смехом огласилась лужайка. И вечер медлил умирать, и в бледно голубых сумерках, горя последний миг, золотом смеялось гаснущее солнце. Сидящий в стороне небольшой оркестр заиграл польку, и все закружилось в веселом танце. Маленьких детишек расхватили Алень, Рафаил, старик Игнат, повар, старший конюх. Все плясали, все радовались, все шумели. Первую польку Ванда танцевала с Стасиком. Подошел последний танец — общий хоровод. Головки девочек украсились венками из пестрых полевых цветов. Доморощенный оркестр всеми инструментами грянул задорный галоп, и старший повар в белом поварском наряде, с высоким белым колпаком на голове, повел хоровод. Он делал какие-то петли, зигзаги, огибал клумбы цветов, смеющиеся кусты бузины и привел детишек в беседку, к столу. Чья-то таинственная рука где то коснулась таинственной кнопки, и вся беседка запылала разноцветными огоньками лампочек. Новый взрыв детской радости бесконтрольным восторгом, шумным и крик-

ливым, обнимал красные, зеленые, желтые веселые огоньки. С трудом посадили детей за стол. Ванда не садилась. Ей надо было обнять каждого ребенка, и она переходила от одного к другому, дольше задерживалась около малышей. Она обнимала их, с затаенным восторгом слушала их неразборчивый лепет и вместе с ними, копируя их гримасы, ела за маму, за папу, за тетю Агату.

Кончился ужин. Детишки повскакали с своих мест и с радостным криком побежали на лужайку к большому столу, на котором в разноцветных коробках были сложены подарки. Наступила затаенная тишина, и восторгом ожидания и томительной неизвестностью горели детские глазенки. А в притихших мыслях длинной вереницей куда-то неслись куклы, заводные зайчики и лошадки, полосатый мячик, обезьянка с глупой рожицей, лихой гусарчик, поезд, сабля, пушка.

Раздачу подарков начали с малышкой. Рафаил громко называл имя и фамилию ребенка, а Ванда передавала ему игрушку. Более взрослые, теряя последнее терпение, заметно нервничали, томимые долгим ожиданием. Отдана последняя игрушка. Ванда усталая и радостная отошла в сторону, закинула за голову руки и с веселой улыбкой следила за маленькими варварами. В воздух летели клочья цветной бумаги, коробки, ленты, и кругом слышался гортанный крик радости, визг восторга, плач над уже сломанной игрушкой. Ванда беспокойным взором искала Стасика с клоуном и в движущейся пестрой ярмарке детей и игрушек не могла найти его. «Где же он? . . . Где? . . »

Вдруг, кто-то сзади с разбега обнял ее колени. От неожиданности она резко повернулась.

— «Мама!»

С поднятой вверх головки на нее глядели голубые глаза Стасика. Она схватила его и прижала к себе. Тонкими ножками он обнял ее талью и пухлыми рученками гладил ее пышные волосы. Ванда вся переполнилась каким-то неизведанным сладким чувством. — «Стасик! Милый Стасик!» — повторяла она, целуя его глаза.

С разных сторон с родителями подходили прощаться дети. Подошла мать Стасика. Он рученками, как от чего-то чужого, оттолкнулся от Ванды и перелез на руки матери. Подошла группа более взрослых детей и оттеснила Стасика с матерью. Ванде была видна только его русая головка. Она осталась одна. Кругом стало пусто. Все стало горько ненужным. Издалека доносились последние детские голоса. Справа, при выезде из имения, дети с шумом садились на поданные линейки. Вон сел Стасик с матерью. Тронулись лошади. Линейки, оставляя за собой клубы пыли, опустились в низину. Низина поглотила детей. Тишина обступила Высокий Двор. Ванда долго стояла и смотрела в даль. Смотрела своими мыслями, своими сомнениями. Она сделала два шага вперед и наступила на что-то мягкое, и словно от боли, жалобно зазвенел колокольчик на колпаке клоуна, забытого Стасиком.

Ванда подняла игрушку, пересекла лужайку, усыпанную, как цветами, разноцветными бумажками, и тихо пошла к озеру. Она опустилась на скамейку у самой воды и задумалась. Первый раз детский праздник не принес ей радости и неизвестной грустью заполнил ее сердце.

— Почему так? — спросила она клоуна.

Он ответил ей саркастической улыбкой своего намалеванного лица, и как показалось ей, хитро мигнул правым глазом.

— Паяц! Мерзкий паяц! Я неназижу спокойный смех твоего бесстрастия. Шут! . . Кривляка! . . Ты равнодушен, холоден к страданию людей. Тебе не ведомы слова жалости. Фигляр!

Она отшвырнула от себя игрушку. Клоун два раза перевернулся через голову, и грустным трепетанием зазвенел колокольчик. Высокий колпак отскочил в сторону, обнажив маленькую головку с ровными русыми кудрями. Удивленные глаза голубой печалью грустно смотрели на нее. Куда-то испарилась дерзкая улыбка клоуна, и маленький ротик силился что-то сказать ей. Она схватила игрушку и крепко прижала ее к груди. Крупные слезы притихшего сомнения молчаливо скатывались по ее щекам.

В далеких поблекших небесах уже отгорели все краски и по широкой просини неба чьей-то таинственной рукой задвигались редкие свечи звезд. Тонкие спирали их отражения, колеблясь, умирали в тихой воде озера. За лесом, в лазоревой глубине, зажегся двурогий серп молодого месяца. Землю прикрыл пепел поздних сумерок.

— «Мама!» — чуть слышно прошептала Ванда и крепче прижала к груди клоуна.

* *
*

Блестяще окончив училище правоведения, Игорь Мравин, вопреки просьбам, мольбам и наконец требованиям матери, под влиянием одноклас-

сника и лучшего друга, Андрея Борга, поступил в кавалерийское военное училище, по окончании которого вышел в один из полков гвардейской конницы, променяв карьеру дипломата, к которой его готовили родители, на военную карьеру. Он сразу попал в колею богатых петербургских военных, законодателей и прожигателей жизни. Вырвавшаяся на свободу молодость сумбурно и торопливо побежала по жизненному пути. И немудрено, что она побежала именно так, ибо молодость всегда бежит, торопится, не знает усталости и в мелких ошибках жизни сжигает избыток своей энергии. Полк, эскадрон, высший свет, скачки, кутежи, вино, женщины, мимолетные связи вскружили голову Мравину. И так, в несерьезном на первый взгляд беге жизни, прошло шесть лет. Но было бы ошибочно думать и утверждать, что эти, уже навсегда затонувшие годы, не оставили наслоений в молодой душе и характере Мравина.

Они оставили, и оставили на всю жизнь. Он преданно и искренно полюбил полк. Полк сделался его семьей и занял в его жизни первое место. Все остальное, как перспектива красивой декорации, отошло на второй план. Товарищи по полку не только полюбили Мравина, они гордились им. Гордились тем, что он физически и духовно был красив, умен, прекрасно образован, талантлив и несметно богат. Неискушенная опытом жизни молодежь, жизненный багаж которой сплошь состоял из одних ошибок, боготворила его и видела в нем доброго гения, не раз выручавшего их из бед. Он всегда во время искусно и широко ликвидировал неоплаченные долги товарищей, умело улаживал любовные интрижки, уже стоявшие на грани

возможной дуэли, из личных средств оплачивал долги грязным ростовщикам.

Мать Мравина не одобряла поведения своего единственного сына. Слухи о его жизни, кутежах, ночных похождениях с друзьями все чаще и сильнее тревожили ее больное сердце.

— Не для того я учила его, чтобы ломать голову на барьерах и кутить с сомнительными женщинами. Только подумать! Сын выдающегося дипломата и падшие женщины. Какой позор! Никогда бы этого не было, если бы был жив Константин, — не раз говорила она себе, и недовольство образом жизни сына все больше и больше овладевало ее властной натурой. Она вызвала сына в имение для объяснения, подчеркнуто холодно встретила его, для большей торжественности провела весь разговор на французском языке, но ни в чем Игоря не убедила. Свидание закончилось крупной размолвкой между матерью и сыном.

Умная, настойчивая, властная она поставила себе цель, какими угодно путями добиться своего. Будучи в молодости блестящей светской дамой, она имела при дворе, а после смерти мужа сохранила, большие связи. Эти связи она и решила использовать, как средство воздействия на вышедшего из повиновения сына. Она побывала в Петербурге, кого надо повидала и, внешне сохраняя с сыном добрые отношения, никогда больше не возвращалась к теме их последней ссоры. Через шесть месяцев ее хлопоты дали положительные всходы. Проводя кратковременный отпуск в имении матери, Игорь получил телеграмму командира полка о немедленном возвращении в столицу, ввиду его откомандирования ко двору.

— Монаршая милость! Какая честь! Это в память заслуг твоего отца, — тепло проговорила мать, прощаясь с сыном.

Новое назначение Мравина было встречено полным недоумением в высшем обществе, скрытой радостью матери, завистью карьеристов и относительным безразличием самого Мравина.

Для Игоря Мравина началась новая жизнь. Императорский двор, близость к царственным особам, петербургские салоны, новые люди, новые интриги, к которым несклонна была прямая и честная натура Мравина. Он не терял связи с полком, но очень скоро почувствовал, что характер его новой службы отнял у него личную свободу. Он не принадлежал себе и всегда был занят. Интересы полка попрежнему составляли смысл его жизни, так как он знал, что рано или поздно он снова вернется в полк. Но из жизни ушел эскадрон, ушли солдаты, лошади, озорной полет молодости с холостыми пирушками. Ушло все то, что Мравин любил и по чем сейчас скучал.

Прошел год, и Мравин подошел к катастрофе, изменившей всю его дальнейшую жизнь. Он увлекся одной из великих княжен. По началу двор не придавал большого значения этому роману, считая его обычным и естественным юношеским увлечением, одинаково быстро зацветающим и отцветающим. Это мнение главным образом создавалось и укрепилось благодаря скрытности великой княжны, но когда ее любящее сердце не в силах было больше молчать, когда скрытность казалась унижительной и оскорбляющей чистоту и пылкость ее любви, она открыто и честно сказала родителям, что любит Мравина, и что не может без него жить.

Финал зацветающего счастья был быстрым и неожиданным. Великую княжну для поправления расшатанного здоровья увезли в Швейцарию, а Мравин, без объяснения причин, был откомандирован в полк.

Мравин сравнительно спокойно отнесся к внезапному откомандированию в полк. Он понимал, что в его карьере образовалась значительная трещина, но он не сознавал ее глубины и, по натуре не являясь карьеристом, сравнительно легко пережил горечь этой трещины.

Он радостно растворился в жизни своего эскадрона, где знал каждого солдата, каждую лошаадь, рыжую с белыми чулками на задних ногах. В полку все офицеры знали причину удаления Мравина от двора, но зная его крутой характер, никто не касался этого деликатного вопроса. Сам Мравин конечно переживал внезапную разлуку с великой княжной, но он очень скоро понял, что страдательным лицом является не он с своим эгоистическим желанием быть любимым, а женщина, вспыхнувшая первой безрассудной страстью любви. Он искренно жалел ее.

Прошел месяц. Мравина ожидала новая крупная неприятность. Было воскресенье. Мравин еще не проснулся после ночной пирушки с друзьями, когда его разбудил Лука и доложил о приходе Борга. Мравин накинул халат и вышел в гостиную. Он сразу обратил внимание, что Борг чем то расстроен.

— Здравствуй Андрей! Прости, я еще не умывался. Чем обязан такому раннему визиту. Наташе хуже?

— Ты читал сегодняшний приказ по полку?

— Н е т . А что?

— Приказом главного штаба ты временно откомандирован в Туркестан, в распоряжение генерала Болотова, коменданта крепости Кушка, — не смотря в глаза Мравину сказал Борг.

— П р и ч и н а ?

— Какие-то нелады на границе Афганистана. Курды пошаливают.

Гнетущая тишина поглотила последние слова Андрея Борга.

— Почетная ссылка? — холодно спросил побледневший Мравин. Мелкие мускулы скул, выразители гнева, быстро забегали по его лицу.

— Игорь Мравин никогда ссыльным не будет. По законам империи у меня есть право выйти в запас, и я им немедленно воспользуюсь.

Мравин встал и нервно заходил по комнате. Лицо его дышало гордой непреклонной волей.

— Не горячись, Игорь. Ты пойми одно . . .

— Мое решение окончательно, и я очень прошу тебя воздержаться и удержать товарищей по полку от каких либо уговоров. Они будут излишни и бессильны изменить мое решение. Через три дня я отбуду в Туркестан.

— Но ты пойми, Игорь, что это все временно . . .

— Клеймо ссыльного остается на всю жизнь, независимо от того находишься ты в постоянной, временной или почетной ссылке.

— Игорь, не горячись. Давай спокойно обсудим все за и все против твоего поспешного решения.

— Я уже все обдумал. И если ты не хочешь ссоры со мной, закончим этот разговор, — жестко сказал Мравин, стальными глазами пронизывая друга.

- Командир полка хочет с тобой говорить.
— Передай, что я через час буду. Где он? В собрании или дома?
— Дома.
— Хорошо. Прощай. Наташе привет от ссыльного.

*
*
*

Приехав в крепость Кушку, Мравин, при представлении коменданту, подал рапорт о выходе в запас гвардии. Суровый генерал, имевший из столицы предписание отеческого попечения о Мравине, в первый момент опешил. Он вторично прочел рапорт Мравина, растерянно повертел его в руках и в теплых словах пытался доказать ему ошибочность его поступка. Мравин спокойно слушал слова своего нового начальника.

— Поверьте мне старику, вы всю жизнь будете раскаиваться в своем поступке. Поймите, что ошибки познаются только после того, как они сделаны. И эта ошибка результат неостывшей горячности, а не здравого холодного разума. Повремените. Торопиться некуда. Рапорт подождет. Послужите здесь. Если из за каждого пустяка мы будем уходить в запас, армия останется без офицеров. Служба у нас интересная, временами рискованная. Ведь мы все время находимся в состоянии какой-то полувойны с дикими племенами, с курдами, афганцами.

Желая прекратить разговор, Мравин, спокойно но жестко ответил коменданту: — Генерал! Я прибыл в ваше распоряжение и безоговорочно исполню ваше любое, даже рискованное, поручение. Но как подчиненный я прошу вас немедленно, не за-

прашивая столицу, дать законный ход моему рапорту. Это мое право, и мое решение окончательно.

Генерал на минуту задумался, покачал головой и с досадой в голосе, ответил: — Печально, но к моему великому сожалению, я не властен лишить вас вашего права. Можете идти. Адьютант уведомит вас к какому форту крепости вы прикомандированы.

Через четыре месяца Мравин вышел в запас и приехал на Волгу в свое маленькое имение. Стояла поздняя осень, мокрая и неприветливая. Серая мокрая сетка со всех сторон покрыла дом. По стеклам окон стекали холодные струйки осенних слез. Крыша дома звучала нудной монотонной мелодией и ей всюду, на разные голоса, вторила грустная капель. Было сыро и неприглядно, и так же сыро было в мыслях Мравина. Они настойчиво спрашивали его: — «Что же дальше?» И он мучился тем, что не мог ответить на них, не мог собрать скачущие мысли в одну: ясную, определенную и законченную. Не давали покоя мысли оскорбленной гордости, уязвленного самолюбия и в конце испорченных отношений с матерью. Горечь этих назойливых мыслей привела его к решению навсегда уехать во Францию. Он не любил французов, но Францию любил. Но очень скоро он несколько изменил свое решение, и как это не странно и на первый взгляд не серьезно, поводом к изменению его решения послужили лошади. Мравин был спортсмен, любил конский спорт и имел в Петербурге большую призовую конюшню. Перед своим отъездом в Туркестан, он снял всех своих лошадей со скачек в Коломягах и дал распоряжение отправить их в свое приволжское име-

ние. И теперь все эти лошади с укором смотрели на него, как на виновника так неожиданно и несуразно оборвавшейся их спортивной карьеры. Игнорируя петербургский и московский ипподромы, Мравин решил купить имение в Польше и на варшавском призовом кругу отстаивать спортивную честь своей конюшни.

Всю зиму, Мравин с своим управляющим Адольфом Ивановичем, человеком знающим, осторожным и опытным, в деталях разрабатывал будущую деятельность в новом имении, и не только в области конского завода, а и других дополнительных предприятий, которым Мравин решил отдать знания Адольфа Ивановича и свою молодую кипучую энергию. Наступила ранняя весна и Мравин с Адольфом Ивановичем поехали в Польшу покупать имение. В Варшаве они вошли в контакт с солидной земельной конторой, выработали точный маршрут своей первой поездки и с агентом двинулись в путь. Они неудачно объехали целый ряд имений, по тем или иным причинам не отвечавшим желаниям и требованиям Мравина. Он возвращался в прескверном настроении, так как не любил, когда что либо не ладится в его начинаниях. Они торопились на маленькую железнодорожную станцию, где должны были пересечь на поезд, идущий в Варшаву.

— Есть прекрасное имение. Уверен, что оно вам понравится. Хорошее местоположение. В пяти верстах железная дорога. Строевой лес, фруктовые сады, река, 80 верст от Варшавы.

— Почему же мы туда не поехали? — спросил Мравин.

— Не продается, потому и не поехали.

— На деньги все продается, — возразил Мравин.

— Попытаться можно. Только если заедем, на поезд опоздаем.

— Чье это имение и где оно?

— «Шиланцэ» — Булинского. Сейчас будем проезжать. С полверсты осталось

— Какая цена имения и сколько десятин? — спросил Адольф Иванович.

— В прошлом году давали 90 тысяч, не отдал.

Экипаж въехал в ворота имения Шиланцэ. На лай сторожевой собаки из дома вышел хозяин. Он приветливо встретил приезжих и узнавши цель их приезда, равнодушно сказал: — Я не продаю имения, а вот гостям всегда рад. Они так редки в деревне. Милости прошу к столу. Там и потолкуем. Может чем и помогу вам. В округе на 200 верст я знаю всех. Знаю, кто чем дышет.

Через три дня Мравин за 145 тысяч купил у Булинского Шиланцэ, переименовал его в «Мравино» и сделался ближайшим соседом графа Заком. Он прожил в имении десять дней, вместе с Булинским оформил в Варшаве все документы по покупке, дал точные инструкции Адольфу Ивановичу, как переделать дом, где построить новые конюшни, манеж, рабочий круг для тренировки лошадей, и только тогда решил ехать в Европу.

*

— Надолго прощаюсь с вами, Адольф Иванович. Да не смотрите на меня с укором. В цыганском бродяжничестве хочу найти равновесие разума и души. Понимаете, чтобы была гармония. А сколько буду бродяжничать, и сам не знаю. Сей-

час еду в Англию. Пришлю вам производителя. Центурион не оправдал моих надежд. Дает средний приплод. А в остальном полностью полагаюсь на вас, действуйте по своему разумению. Вы знаете, как я ценю вас и верю вам. Где бы ни был, буду держать связь с вами. Желаю успеха. Прощайте! А что переплатили за имение, забудьте.

Мравин крепко пожал руку Адольфа Ивановича и поднялся на площадку вагона. Тронулся поезд. Послушные колеса железом заскрежетали по рельсам жизни. Мравин ехал в Висбаден навещать больного друга, и через неделю предполагал быть в Лондоне, дабы не пропустить короткий сезон скачек в Нью Маркет.

Про счастливых людей пословица говорит, что они рождаются в сорочке, и за шесть месяцев пребывания в Лондоне, эта пословица, как нельзя лучше оправдала на нем свою мудрость и правдивость. Он исключительно удачно купил на бирже акции, во время продал их, значительно приумножил свой капитал, отправил в имение каракового красавца Лорда, производителя именно тех кровей, которые он давно искал. Распрощавшись с пасмурным Лондоном, он переехал в солнечный, беспечный Париж. Он арендовал в поместье Парижа небольшую виллу, выписал из имения Луку и в тишине одиночества пробовал разобраться в своих остывших, но временами все еще скачущих и не завершенных мыслях. Скоро он понял, что не готов к цыганскому бродяжничеству, что оно не даст ему баланса разума и души, что утраченное равновесие жизни может дать только работа, работа, которая поглотит все его мысли и всю энергию.

Очень скоро Мравин вступил компаньоном в новое индустриальное дело, теоретически очень прибыльное, но из-за отсутствия оборотного капитала, влачившее хилое существование. Мравин вложил в дело необходимый капитал и сделался одним из директоров предприятия. Заводы компании работали на африканском сырье и имели сбыт в странах Европы. И сама жизнь предоставила ему желаемое бродяжничество. Он два раза побывал в Африке, в стране, в которой он никогда не был и которая его очень интересовала. Расширяя рынки сбыта, он исколесил все страны Европы. Прошел год интересной и упорной работы. Баланс показал хорошую прибыль. Дело было поставлено коммерчески правильно. Проведя в Париже зиму, Мравин ранней весной поехал в Польшу, в свое имение.



Сколько в мире есть людей, столько есть и жизней, ибо каждый человек, каждая семья живет своей жизнью и по своему понимает свое счастье. И счастье каждого человека или семьи цветет, пока его цветов не коснется увядание. В какой бы форме увядание ни пришло, оно старит счастье, оставляет на нем мучительно больные и трудно изживаемые морщины. И само счастье, утратив цветение чистоты и веры, уже цветет цветами инерции жизни и искусно заштукатуренными для постороннего взора заплатами искреннего или выгодного прощения, тонкого материального расчета, редко самопожертвования, а если есть дети, просто желанием сохранить для них отца или мать.

Закомы были бездетны, но они не избежали этого закона жизни. На десятом году хрусталь их счастья дал трещину, и жизнь зазвучала диссонансом. Эта трещина пришла не случайно. Она напоминала о себе и в прежние годы их счастливой жизни, но напоминала как-то застенчиво, стыдливо и не казалась им угрожающей. Придет, неожиданно окутает жизнь туманом холодных сомнений, потом вдруг испарится, вернет солнце жизни, вернет тепло и побегами новых надежд согреет душу и тело. Эта трещина стала определенной и несомненной после тяжелой болезни Ромуальда, чуть не стоившей ему жизни.

В жизни мужа и жены бывают драмы, переживаемые в молчании. О них не говорят, но трагичность молчания каждого носит свой особый тяжелый характер. Ромуальд давно сознавал, что рано или поздно его увядание должно встретиться с молодым цветением его жены, но он, исполненный жизненного опыта, не предполагал, что эта встреча наступит так скоро и неожиданно. Он мучительно тяжело переживал рано пришедшую старость и так же мучительно понимал, что никакое богатство, баловство, заботы, Ривьеры не спасут его жизни. Он, лицом к лицу, встретился с законом молодости и знал, что по праву сильного этот закон сломает его жизнь, отнимет счастье.

Он заметил в жене перемену. Она стала замкнутой, какой-то отсутствующей, вдруг потерявшей вкус ко всему тому, что люди называют жизнью. Он стремился понять, разгадать ее молчаливые мысли, и не мог. Он только чувствовал, что они были для нее мучительно тяжелыми, такими же тяжелыми, как и его. Он презирал себя, когда

участливо спрашивал ее о причинах ее недомогания и подавленного состояния. Он чувствовал, что лжет. Лжет самому себе. Он знал причину, а Ванда пойманная врасплох его вопросом, с больной улыбкой покорно отвечала: — «Нет . . . ничего. Это пройдет».

Он мучился этим — «пройдет» потому что знал, что ничего не пройдет и страдал сознанием своего бессилия что-либо изменить.

Врожденная деликатность Ванды молча и тяжело переживала вынужденное охлаждение к ней мужа. Она чувствовала, что из жизни ушло тепло, что оно ушло навсегда и уже никогда не вернется. Ужас этого «никогда не вернется», она читала в потухших всегда виноватых глазах мужа. За десять лет она привязалась к мужу, любила и ценила в нем его любовь к ней, его внимание, заботы, доверие. И жизнь их цвела ясностью, чистотой и улыбкой. Да . . . да . . . улыбкой. Счастливая жизнь всегда улыбается. Пришел неожиданный туман. Померкла ясность, ушла улыбка. Стало холодно мыслям, душе, телу. Ванде мучительно хотелось вернуть ясность жизни, ту ясность, которую она радостно пила своим молодым телом.

— Я молодая, а жизнь моя уже старая, пустая, без солнца. Я боюсь себя. Боюсь, что не смогу жить без солнца, — упавшим голосом повторяла она, руками сжимая голову и путаясь в хаосе охвативших ее мыслей. И только сердце не оставляло ее. В каждом нервном толчке оно смело бросало вызов жизни, призывало ее к определенному решению, требовало выхода.

— Надо найти новое солнце! Яркое, теплое солнце, — говорила она и, словно обращаясь к кло-

кочущему сердцу, спрашивала: — Но где найти его? Как найти? Какому солнцу отдать себя всю? Отдать свою молодость, любовь, ласку, жизнь. Как слепой идти за ним и молиться только ему. Кому ему?.. Новому солнцу жизни. Какому солнцу?.. Ребенку! Она откинула назад голову и вся залилась радостным румянцем. Глаза сверкали блеском нового счастья.

— Но для этого я должна, — вдруг растерянно спросила она себя, и стыдливый испуг отразился в ее глазах. Казалось мысль оборвалась, и как не осуществимая повисла в пропасти мгновенных сомнений, унося с собой мираж призрачного счастья, призрачного солнца жизни. Но это продолжалось только мгновение. Мысль не ушла. Она на секунду остановилась, задумалась и стихийной волной счастья переполнила все существо Ванды. Завладела мозгом, сердцем, душой, унесла сомнения, зазвучала несомненной правдой.

Наступила поздняя осень. Заком переехали в Варшаву. К радости Ромуальда, Ванда стала проявлять утраченный интерес к жизни. Они посещали театры, концерты, балы, рестораны. Постоянными гостями их дома, гостеприимного и хлебосольного, сделались заезжие на гастроли знаменитости: музыканты, певцы, художники. По пятницам на музыку и карты собирались близкие друзья. Ванда расцветала от всеобщего мужского поклонения, временами настойчивого, дерзкого, пылкого, и только сердце ее молчало и оставалось холодным. В феврале из Москвы, на пять гастрольных спектаклей приехала опера. Премьерой была объявлена, только что вошедшая в моду, — «Пиковая дама» — Чайковского. На этот раз, на все

пять спектаклей, Ромуальд купил открытую ложу, слева от сцены.

Ярким светом люстр и многочисленных бра горел переполненный зал, веселым блеском освещая красочную ярмарку людского тщеславия, самовлюбленности, зависти и прочей жизненной мишурой. Всюду колыхались не в меру оголенные тела женщин в роскошных или бездарных туалетах, дорогие меха, драгоценные камни, блестящие военные мундиры, строгие фраки. Нарядная публика жужжала последним разноголосым говором, когда Ванда и Ромуальд вошли в ложу. Ванда была в закрытом, черного пан-бархата платье. Прикрытую бархатом шею обнимала тонкая нитка маленьких ярких алмазов. В пышных волосах огнями звезд горела небольшая бриллиантовая диадема. Ванда на минуту задержалась у барьера ложи и по взглядам, устремленным на нее со всех сторон, почувствовала восхищение мужчин и скрытую зависть женщин. Отвечая легким наклоном головы на приветствия знакомых, она передала Ромуальду пышный белый мех и опустилась в кресло. Гордый спокойный взор случайно остановился на противоположной ложе. В ней сидела сильно декольтированная, незнакомая ей, дама. Ванде почему то бросилось в глаза ее притягивающее дерзкое обаяние. Именно дерзкое, зовущее. Она вся светила им. По обе стороны от нее в сверкающих мундирах сидели два военных. Сзади, за ее креслом стоял красивый мужчина. Снег фрачной сорочки подчеркивал его мужественное загорелое лицо. Он восхищенными глазами пристально смотрел на Ванду. Уголки красивых губ

складывались в чуть заметную улыбку, словно хотели сказать, — «Как вы восхитительны».

— Кто он? Где я видела его? — мысленно спрашивала себя Ванда и радостно отравлялась ядом его восхищения. Потушили свет. Мощно запели звуки увертюры. Малиновый с золотом занавес медленно пополз в разные стороны. Началась опера. В середине акта, Ванда, как под гипнозом, повернула голову в сторону ложи и снова встретилась с восхищенным взглядом незнакомца. Она смущенно опустила голову и дала себе слово больше не глядеть. Кончился акт. Бурными аплодисментами шумел зрительный зал. Ванда и Ромуальд вышли в ресторан. Они вернулись в ложу, когда огни зрительного зала были уже потушены. Противоположная ложа была пуста.

— Где же он? — тревожной искрой мелькнуло в мозгу и Ванда почувствовала, что она что-то потеряла. Потеряла его улыбку, восхищение, его глаза.

В антракте после второго акта Ромуальд вышел покурить. Ванда осталась одна и безучастно разглядывала море человеческих голов и так же безучастно пришла к заключению, что все они разные и думают по разному. Кто-то нерешительно постучал в дверь ложи. Ванда повернула голову. Вошедший старичек капельдинер передал ей конверт и роскошный букет пунцовых, почти черных, роз. Ванда открыла конверт. Он оказался пустым. Румянец залил щеки Ванды. В ложу вошел Ромуальд.

— Я так привыкла к твоему красивому баловству. Спасибо. Какие чудные цветы, — смотря на Ромуальда, сказала Ванда.

— Я очень сожалею, что это сделал кто-то другой, а не я, — виновато, без тени какой либо ревности, ответил Ромуальд.

— Но кто-же тогда? . . Конверт пустой. Странно.

— Ктонибудь из знакомых. В следующем антракте откроется.

Начался акт. Ванда склонила лицо к нежным цветам. Она знала, кто их послал. Аромат случайных роз пьянил ее. — Где я видела его?



Мравин ехал верхом на любимом Ахилле. Он возвращался в имение с обычной утренней прогулки. Разгоряченный галопом конь радостно перешел на шаг, жадно вдыхая раздутыми ноздрями утреннюю прохладу леса. Мравин освободил поводья, похлопал лошадь по потной шее. Лес лениво просыпался. Золото солнца нежно ласкало верхушки деревьев. Мравин любил лес, любил его торжественный покой, таинственные заросли, случайные шорохи, зеленые просветы. Лес пьянил его своим здоровым, гордым, бесстрастным благоуханием, и это утреннее опьянение обычно приводило Мравина в хорошее настроение.

Лес редел, перешел в мелкий кустарник, и дорожка выбежала на опушку. Справа вдали открылось потонувшее в зелени садов имение графа Заком — «Высокий Двор». Из зелени словно вырос красивый воздушный дворец, некогда построенный каким-то знаменитым итальянским мастером. Бесчисленные окна и белый с колоннами фронтон дома горели огнем утреннего солнца. Пе-

ред зданием, в глади спокойной воды небольшого озера, отразились, словно опрокинулись, белая резная беседка и клумбы цветов. Мягкая проселочная дорога вилась среди волн зеленых хлебов. Мравин перевел Ахилла на рысь и полной грудью вдыхал свежесть весеннего утра, прозрачного и беспечно радостного. Слева на фоне аллеи пирамидальных тополей показались два всадника. Они ехали навстречу Мравину. Поровнявшись с ними, Мравин сдержал Ахилла. Всадники остановились. Незнакомые лошади тихо заржали.

— Не господин-ли Мравин, наш новый сосед? — с чуть заметным польским акцентом спросил красивый старик, приподнимая котелок и обнажая седую, гладко причесанную на прямой пробор голову.

— Он самый... Мравин, Игорь Константинович.

— Граф Ромуальд Заком. Познакомьтесь, моя жена, графиня Ванда Заком.

— Рад познакомиться с очаровательной соседкой по имению, — учтиво сказал Мравин, обнажив улыбкой ряд красивых зубов. Он заставил Ахилла сделать три шага вперед, снял котелок и склонился к протянутой руке Ванды. Чуть осязаемое пожатие растворилось в нежном шелесте слов: — «Не надо... она в перчатке».

Мравин поднял голову и встретился с сверкающей просинью улыбающихся глаз Ванды. Это было мгновение, но он ясно почувствовал, что улыбка этих прекрасных глаз, таящих в себе прелесть какой-то загадочности, что-то сказала ему.

— Мы с вами почти знакомы, Игорь Констан-

тинович. Кажется так? Да, спасибо за розы, — тихо промолвила Ванда.

— Графиня определенно принимает меня за кого то другого. Поверьте, я не посмел не узнать вас.

— Я сказала — «почти». Оба знакомства были какие то ненастоящие, — кокетливо ответила Ванда, озарив Мравина блеском своих глаз.

— Вы меня заинтриговали, графиня.

— Не имела цели. Скажите, вы никогда не бывали в имении Бекетовка, на юге России?

— Это имение моих лучших друзей, Бекетовых.

— Папа был управляющим этого огромного имения. Вы, как то приезжали к нему продавать или покупать какой-то овес. Кажется овес.

— Помню... припоминаю...

— Мне было тогда 16 лет. Девченка... Вы завтракали у нас, но все ваши мысли были заняты овсом.

— Простите, графиня, — наклоняя голову с улыбкой сказал Мравин.

— Второй раз я видела вас в Варшаве, в манеже, на конкур иппик. Вы помните, Ромуальд, я рассказывала вам об исключительном успехе господина Мравина и его лошадей. Вы тогда взяли почти все призы.

— Да... да... Я к сожалению отсутствовал из Варшавы и не мог разделить вашего успеха, — подтвердил Ромуальд, подтягивая ослабевшую подпругу.

— Я сидела у барьера, в ложе. Вы принудили вашу лошадь опуститься передо мною на колени. Было очень мило с вашей стороны.

— Салют умного животного прекраснейшей из женщин.

— Не говорите комплиментов. Я не люблю их. Я самая обыкновенная женщина, с обыкновенными достоинствами и недостатками. Не правдали, Ромуальд?

— Я скорее соглашусь с мнением господина Мравина.

Ошеломленный необыкновенной красотой Ванды, Мравин, не спуская глаз, смотрел на нее, чему то подсознательно улыбался, и когда Ванда, чуть прищулив свои глаза, мягко сказала — «Будем рады видеть вас у себя», покраснел до корней волос.

— Благодарю вас, графиня, — с наклоном головы ответил Мравин, разбирая поводья и с восхищением впитывая в себя счастливую улыбку, осветившую лицо Ванды. Он второй раз почувствовал, что эта улыбка принадлежит только ему.

— Если господин Мравин находит удовольствие в затворничестве... «прощайте»... если нет... «до скорого свидания».

Их глаза встретились в последний раз. Ванда с места подняла лошадь на короткий галоп.

— Приезжайте запросто, когда угодно. Я или жена всегда дома, — второпях сказал граф, давая шпоры своему коню.

Мравин пристально смотрел вслед удаляющимся всадникам. Он опытным взглядом оценил прекрасную выездку лошадей и безупречную посадку Ванды. Она ехала амазонкой. Нетерпеливый Ахилл часто и нервно перебирал точеными ногами.

— А ведь прав был Булинский. Графиня чертовски хороша. Как говорят французы — «когда

хорошо, все хорошо», — вслух сказал Мравин, освобождая поводья. Вернувшись домой, он, как обычно, обтерся ледяной водой с одеколоном и, дышащий здоровьем и свежестью, опустился на веранду к утреннему завтраку. Он с аппетитом ел кровяной бифштекс со свежим салатом, рассеянно слушал доклад управляющего, два раза что-то невпопад сказал, а губы словно коснувшись чего то далекого и прекрасного, непроизвольно складывались в улыбку.

— Маргит принесла жеребенка.

— Роды благополучные? — оживился Мравин.

— Как выплонула. Необыкновенный жеребенок. Сухая голова, длинные ноги, могучая грудь, подпруга, низкая бабка.

— Рубашка?

— В отца . . . рыжий.

— Это хорошо. Люблю рыжую масть. Что я вам говорил? Удачное скрещение кровей. Запомните, отец и мать лошади высокого класса, — и Мравин увлекшись, перечислил родословную Милорда и Эрны.

— Идите, Адольф Иванович. Я скоро буду в конюшне.

Мравин выпил чашку крепкого кофе с теплыми сливками, опустился в глубокое кресло и взялся за пачку свежих петербургских газет. Что-то мешало ему сегодня читать, слова прыгали перед глазами, куда то уходили, оставались непонятными. Он отложил в сторону газету и задумался. Старик лакей, Лука, бесшумно убирал со стола посуду.

— Лафит прикажете оставить? — спросил он, добрым взглядом глядя на Мравина.

— Оставь и можешь идти, — не поворачивая головы бросил Мравин. Он впервые почувствовал, что его раздражает присутствие этого преданного и любимого им старика. Он ясно почувствовал, что ему хочется остаться одному со своими мыслями. Проводив глазами лакея, он долго молча смотрел в одну точку. Взгляд его глаз говорил о какой то внутренней борьбе, неожиданно поглотившей его. Его глаза то загорались искрами безотчетной радости, то потухали в нахлынувших сомнениях. Мравин, несмотря на свою молодость, ему было 30 лет, и с виду несерьезный образ жизни, был воспитан отцом в строгих правилах морали, в которых было точно определено хорошее и дурное, с вытекающим следствием, что хорошее можно и должно делать, а плохое — нельзя. Эти правила охватывали всю его жизнь, составляли его мировоззрение и за ним прочно укрепилась репутация порядочного человека.

— Странное ощущение, — потирая лоб тихо сказал он.

— Глазами сказала... все сказала. Улыбкой подтвердила... словами отравила...

Он ясно почувствовал, что сегодняшней встречей с Вандой он был взят врасплох, и что его твердые правила касательно замужних женщин как то поколебались в его сознании, представились ему несовершенными и требующими каких то изменений, а каких он сам не знал. Он встал, два раза прошелся по веранде и как бы отвечая на свои мысли, твердо сказал: — Никуда и никогда я не поеду. Пусть она молода, красива, обольстительно прекрасна. У нее есть муж. Точка... да... точка. Никогда не влезал в чужую жизнь. Какая

бы она ни была, она чужая. Я вечно буду чувствовать, что я взял, украл что-то чужое и как вор должен скрываться. Правда, граф стар, но это их дело. Я тут не при чем. Глупо . . . глупо . . . Маргит принесла жеребенка, а я в чем то оправдываюсь, трачу время на след какой то случайной встречи, с какой то случайной графиней. У каждого человека должны быть принципы. Это его моральное лицо. Господин Мравин, намерены вы нарушить ваши принципы? . . Нет. Так что, очаровательная графиня, вы будете рады видеть меня, а я буду рад вас не видеть, — вслух сказал он, и весело рассмеялся. Ему понравилась непоколебимая твердость последних слов. Он выпил бокал лафита, взял со стула кепи и стэк, и бодрой походкой направился в конюшню, навестить Маргит.



Ромуальд догнал жену. Лошади пошли шагом. Оба думали о Мравине и у каждого были свои мысли. Оба молчали, и создавалось впечатление, что никто не хочет высказаться первым, очевидно имея к этому свои причины. Ванда скользнула коротким взглядом по мужу. Ей хотелось, чтобы он заговорил первым, но Ромуальд, пристально глядя в даль, молчал. Потеряв терпение, она, не поворачивая головы, спросила: — Как тебе понравился наш новый сосед?

— Очень. В нем, даже с первого взгляда, чувствуются нити какого то мужского очарования, располагающего и притягивающего. Если бы я был женщиной, свободной женщиной, я бы легко мог потерять голову.

Ромуальд улыбнулся и добавил: — Время не заставит себя долго ждать. Наши соседи богаты невестами: Тышкевич, Желтовская, Пратт, Булинские. Я много слышал о нем, когда последний раз был в Петербурге. Прекрасно образован, умен, талантлив, любит живопись, музыку, дерзок в скачке, и несметно богат.

Ванда чувствовала, как кровь запретным, но радостным румянцем заливает ее лицо.

— Аристократ с головы до пят. Прекрасно светски воспитан.

— Не нахожу, — возразила Ванда.

— Почему?

— Жить несколько месяцев в имении и не найти нужным навестить своих ближайших соседей, едва ли может служить показателем светского воспитания.

— Все придет в свое время.

— По моему, для воспитанного человека время уже ушло.

— Не будь так строга. Мало-ли какие могут быть причины к этому. Да вообще есть люди, не так легко, как этого хотелось бы нам, приподнимающие завесу своей жизни для посторонних. Вот теперь познакомились, и я уверен, что он не замедлит быть у нас.

Ромуальд остановился и после короткого раздумья продолжал: — Широко и расточителен. Булинскому заплатил за имение вдвое больше, чем оно стоит, и только потому, что Булинский не хотел его продать, а имение понравилось ему.

— Одобряю. Натуры широкие всегда переплачивают за то, что им нравится.

— Порядочен, тщеславен и горяч. Непреклонен в своей горячности, холодной горячности.

— Ты так много знаешь о нем.

— О нем знает весь Петербург. Был при дворе, на пути блестящей карьеры, и все потерял.

— Почему? — стараясь скрыть охватившее ее волнение, безразлично спросила Ванда.

— Неудачный юношеский роман с особой царственной крови и, через свою горячность, неудачный выход из создавшегося положения.

— Почему неудачный? — допытывалась Ванда.

— Отказался от временной ссылки в Туркестан, оставил полк, потерял связи, погубил зацветающую карьеру. Имение, лошади, скачки это не карьера для человека его масштаба. Он сын выдающегося дипломата. Отец умер, а блестяще окончивший училище правоведения сын, вышел из повиновения матери и променял карьеру дипломата, к которой готовил его отец, на военную службу. А теперь и ее потерял.

Лошади почувствовали конюшню, тихо заржали, потянули повод и перешли на рысь. Ромуальд помог жене слезть с лошади. Ванда погладила бархатные губы лошадей, дала им по кусочку сахара и быстро направилась в дом. Приподняв край амазонки, она торопливо подымалась по лестнице, чувствуя радостное kloкотание своего сердца. Сзади ее шла горничная.

— Не надо, Алень. Я переоденусь сама. Скажите, чтобы подавали завтрак, — на ходу бросила она и вошла в комнату, залитую ярким весенним солнцем. Она на секунду остановилась, бросила на кровать серый котелок, перчатки и чему то под-сознательно и радостно улыбнулась.

— Боже, как все это невероятно глупо, — сказала она, расстегивая амазонку и постепенно обнажая свое тело.

— Тогда почему мной овладела какая то новая сила? Да . . . да . . . новая, чужая. Я стараюсь освободиться от нее и сама радуюсь, что не могу освободиться. Почему я сейчас вся какая то хмельная? Чем хмельная?

И словно найдя ответ на свой вопрос, она вдруг покраснела, и эта случайная краска запретной радости отразилась в ее горящих глазах.

— Глупо . . . Но почему, каждый раз когда я вижу его, он овладевает мной. Я становлюсь какая то безвольная, радостно безвольная. Почему? — спросила она себя, глядя в большое зеркало, отразившее ее прекрасное нагое тело. Трепет волнения охватил сердце, разум, все существо. Она вдруг почувствовала на себе его пристальный взгляд. Стыдливо прикрыв руками грудь, она гневно закричала: — Кто дал вам право смотреть на меня такими глазами? . . . Уйдите прочь!

Мгновение и, как бы повинувшись ее требованию, видение испарилось. Нежданным испугом зажглись глаза. Она схватила руками края зеркала и, потрясая его, шопотом повторяла: — Игорь, милый! Не оставляй меня . . . Вернись . . . вернись.

Она чувствовала, что в эту минуту в ней зарождается новая жизнь. Эта жизнь зовет ее к преступлению и к счастью. Она прижалась возбужденным лицом к холодному стеклу зеркала и сквозь слезы простионала: — Пусть преступление. Я не могу больше. Я задыхаюсь, боюсь себя. Мне нечем жить.

На лестнице послышались знакомые тяжелые шаги. Ванда испугано отошла от зеркала. — «Чем я объясню свои слезы?» — мелькнуло в мозгу. Размеренные шаги приближались. Послышался стук в дверь.

— М о ж н о ?

— Одну минуту, Ромуальд. Я не одета.

Ванда быстро накинула халат, платком обтерла следы неожиданных слез и, желая скрыть тайну охватившего ее волнения, встала у открытого окна, спиной к двери.

— Войдите, Ромуальд.

Ромуальд подошел сзади, обнял плечи жены и губами коснулся завитков волос на шее. Ванда резко повернулась. В расширенных восторженных глазах горело желание. Она обняла мужа, прильнула к нему молодым зовущим телом. Пойманный врасплох нежностью жены, Ромуальд растерянно гладил ее волосы, словно старался притушить огонь ее порыва. Неправильно поняв ласку мужа, Ванда ближе прильнула к нему, руками обняла его голову и встретила с потухшими, виноватыми глазами. Голова упала к нему на грудь. Горло сжимали подступившие спазмы слез. Ромуальд первый нарушил тягостное молчание.

— Завтрак на столе. Я тороплюсь к Желтовскому, — приниженно тихо проговорил он.

— Завтрак?.. Какой завтрак?.. Да... да, конечно завтрак, — чуть слышно повторила Ванда. Руки безжизненно упали с его плеч.

Они молча спускались по широкой лестнице в маленькую застекленную столовую, горевшую огнями цветов. Свежесть весеннего утра бежала им навстречу, ласкала их лица, мысли. И каждый по

разному понимал этот пьянящий зов весны. Ромуальд, безгранично любящий жену, шел дорогой осени, прекрасной осени, овейной теплом и верно-стью жены. Ванда в свои 29 лет безропотно платила долг чести своего отца.

Ромуальд отодвинул стул, подождал, когда жена опустилась на него и только после этого сел сам. Тягостное молчание длилось несколько секунд, пока Ванда не подняла салфетку с своего прибора. Ее взор упал на маленький синего бархата футляр.

— Опять баловство, зачем? — спросила она открывая футляр с бриллиантовыми сережками в оправе мелких кровавых рубинов.

— Почему сегодня, в понедельник?

— В память дня нашей встречи, — не освобо-дившись от тяжести только что пережитого, застенчиво ответил Ромуальд, опустив голову.

Ванда порывисто встала, обняла голову мужа и нежным поцелуем коснулась висков мужа. Ромуальд нашел руку жены, повернул ее ладонью и приложил к губам. Теплые губы покрывали нежную руку частыми поцелуями и через них Ванда почувствовала мучительно тяжелые мысли мужа. Они просили у нее прощения. Ей стало жалко Ромуальда. Она охватила руками его лицо, и смотря ему прямо в глаза, тепло сказала: — Ну довольно, довольно. Не надо мрачных мыслей, все ушло.

Но в это «все ушло» не верили ни она ни он. Оба знали, что ничего не ушло, что оно вернется с большей тяжестью для обоих. Ванда села на свой стул и как бы желая уверить мужа в том, что ничего не случилось, искусственно весело перевела

разговор на предстоящую поездку мужа в Нью-Йорк и свой отъезд на французскую Ривьеру.

— Я очень опечален, что не могу проводить тебя до Канн. Я вынужден выехать на три дня раньше тебя, чтобы не пропустить свой пароход.

— Я больше огорчена тем, что ты не можешь быть со мной. Тебе нужен отдых.

— Да, я немного устал. А хорошо бы было закончить все дела так, чтобы на обратном пути захватить тебя еще у моря. Недельки две отдохнуть, людей посмотреть, набраться новых впечатлений, свежих сил. Они всегда действуют на человека, как успокоительные капли, предписанные доктором. Оздоровляют жизнь и она кажется еще более прекрасной.

— По моему, это всецело зависит от тебя.

— Да не от меня, от дела. Дело интересное и, как ты знаешь, мы поднимаем его вместе с Желтовским. Общий капитал, риск, успехи, неудачи. Ты знаешь как я щепетилен к чужим деньгам и к чужому доверию.

Ромуальд посмотрел на часы. На лице отразилась гримаса досады. Он наскоро допил чашку остывшего кофе и, подымаясь со стула, сказал: — Ты прости меня. Я уже опаздываю. Не люблю заставлять себя ждать. Это последнее перед моим отъездом, очень важное совещание.

Он поцеловал жену в щеку, захватил папку с какими то бумагами и они направились к ожидавшему его экипажу.

Проводив мужа, Ванда долго смотрела вслед удаляющемуся экипажу. Лошади повернули направо, и скоро скрылись в колыхающихся волнах зеленой ржи. Прищулив глаза от яркого солнца,

Ванда смотрела в голубую даль ясного неба, а на душе было неясно. Она только сейчас поняла, что это смотрит не она. Смотрят ее мысли: путанные, непонятные, чистые, греховные. Сегодня они вдруг побежали двумя разными дорогами, зацвели разными цветами, и она уже не может отличить цветы верности и чистоты, от цветов измены и преступления.

«Сегодня я изменила Ромуальду. Не я, а что-то внутри меня», — пронеслось в мозгу. Она резко взмахнула головой, как бы желая освободиться от своих мыслей, упрекнула себя за глупую вспышку желаний, но сразу нашла ей оправдание, залилась радостным стыдливым румянцем, когда ее мысль коснулась Мравина. Постояв с минуту в какой то нерешительности, она безнадежно развела руками и направилась к дому. Она обрадовалась, когда у большой клумбы увидела садовника Игната. Он сидел на корточках и руками копошился в черной влажной земле. Игнат служил еще у ее отца. Около него прошло ее детство и юношество. Она любила старика за его прямоту, чистоту души и жизненную мудрость, очевидно взрощенную в нем землей, воздухом и цветами.

— Здравствуйте, Игнат! — ласково поздоровалась Ванда.

— С солнечным утром, барыня, — почтительно ответил старик, повернув к Ванде загорелое с глубокими морщинами лицо.

— Вы, Игнат, чародей. Поражаюсь вашему искусству выращивать такие необыкновенные цветы. Посмотрите, какой красавец. Сколько томительной нежности в каждом лепестке, — восторженно сказала Ванда, обнимая руками пунцовый

бархат цветка с чуть заметными желтыми жилками.

— Пустоцвет, — ответил Игнат, посмотрев на цветок.

— А что такое пустоцвет, Игнат?

— Как что, барыня? Пусто цветет. Для себя цветет. Никому не передает своей красоты, своей жизни. По другому сказать — «неплодный». Так вот и женщины, какие бывают — пустоцветы. Для себя цветут. А какая это жизнь? Соблазн, грех один. Женщине закон дан цвести ребенком. И жизнь полна, и горя у нее нет. Потому в ребенке ее жизнь. Он то, ребенок, может уж профессор какой ученый, очки на носу, а для матери все равно ребенок, всегда ребенок.

Игнат остановился, долгим взглядом посмотрел на Ванду и неправильно истолковав ее молчание, извинительным тоном, тепло добавил: — Вы простите, старика. Барина-то в живых нет, царство ему небесное, так я вроде как за него говорю. Как отец говорю. Такая красавица, королева писаная, а без детей. Ему что? Заводы строить, по заграницам ездить, богатеть. А для кого все это? Послушайте старика. Сегодня же скажите барину: «Хочу ребенка, и все тут». Не отвертится. А мне то радость какая. Вас нянчил. Бывало на руки возьму, так ровно ангелочка взял. Бельенького, чистенького ангелочка. А теперь что? Пустоцвет. Вы не сердчайте на старика. Правду говорю.

— Да, да, Игнат... Я скажу, — озабоченно ответила Ванда.

Она недолго постояла и быстро направилась в дом. В ушах звучали простые слова правды. Они

не внесли разлада в душу Ванды, а скорее оправдали ее сомнения.



Вечером, после ужина, Ромуальд и Ванда перешли в кабинет.

— Сыграй мне чтонибудь. Я так люблю твою музыку. Под нее так легко работается и сама работа кажется музыкой, — попросил Ромуальд, опускаясь в кресло перед письменным столом.

— Ты разрешишь мне дочитать одну небольшую главу? Я остановилась на самом интересном месте. Несколько необыкновенная измена и мне хочется узнать, кончится она крахом жизни или нет. Я же женщина. А все женщины любопытны.

— Конечно дочитай. И потом расскажешь мне. А вот, кстати, твой билет на голубой экспресс. Одна пересадка на границе Польши и Германии. Но ты не беспокойся ни о чем. При своем проезде я все улажу. Тебя встретят, перенесут твой багаж, посадят в купэ.

— Я передумала, Ромуальд.

— Что передумала?

— Я не поеду на Ривьеру.

— Как не поедешь? Еще сегодня утром, за завтраком, ты сама говорила.

— А вот сегодня вечером передумала.

— Причина?

— Никакой. Просто какое-то предчувствие, и я решила остаться дома. Не хочу ехать без тебя.

— Но ты каждый год ездила без меня, и с восторгом отзывалась о проведенном времени.

— А сейчас с восторгом остаюсь дома. Можно?

— Ничего не понимаю. Ты знаешь, я уезжаю надолго. Тебе будет скучно.

— Если ты позволишь мне не скучать, мне скучно не будет. Всегда готовые повеселиться соседи, лошади, охота, скачки. Перееду на время в Варшаву, отдамся азарту. Вернусь в имение. Дам какойнибудь пышный бал, а там вернешься ты.

Ванда сказала все это так просто и естественно, что Ромуальд отказался от возражений, ласково улыбнулся, покачал головой, и в знак согласия приложил к губам руку жены.

— А теперь кусочек музыки, как ты просил. Главу я дочитаю потом, — сказала Ванда, чмокнув в щеку мужа. Она перешла в смежную гостиную, подошла к роялю, открыла крышку и задумалась. Спокойные огоньки бра, прикрытые маленькими тафтяными абажурами, глядели со стен, как нежные светящиеся цветы. И ей показалось, что каждый цветок спрашивал ее — «Зачем ты все это сказала? Почему?» Она растерянно переводила глаза с одного цветка на другой и мысли ее отвечали: — «Я не знаю... не знаю. Я не думала об этом, а сказала. Какая-то посторонняя сила завладела мной. Это она сказала, не я».

Ванда улыбнулась счастливой улыбкой, в глазах зажглись огоньки радости, она мысленно обнимала эту постороннюю силу: смутную, волшебную, свободную, глубокую, живую. Она села, опустила руки на холодные клавиши. В тонких кружевах первых звуков отразилось томительное волнение, и каждая отдельная нота, каждый звук дышал оправданием трепетного сомнения и в пламенном порыве будил желание любить. Ванда играла третий ноктюрн Листа — «Грезы любви».

Она играла с полуприкрытыми глазами, и только веки с большими ресницами конвульсивно вздрагивали от гармонии охватившего ее экстаза. Она в музыке обнимала случайную встречу, случайную силу. Ромуальд поднял голову, отложил в сторону бумаги. Он не мог работать. Власть музыки овладела им. Он тихо встал, подошел к двери и восторженно смотрел на Ванду. Ласка звуков то баюкала его своей нежностью, то томила истомой неизвестности. Он закрыл глаза и мучительно больно старался понять точный смысл музыки. Ванда кончила играть, низко пустила голову. Тонкие пальцы безжизненно соскользнули с клавиш. Сзади подошел Ромуальд. Он положил руки на плечи жены и наклонившись к ней, тихо сказал: — Сегодня ты играла необыкновенно. Я знаю этот ноктюрн, люблю его, но сегодня он звучал как-то совсем по другому. В нем чувствовалась другая мысль. Мне трудно определить ее словами. Но она такая большая, такая яркая.

Ванда закрыла глаза и ниже опустила голову.



Уехал Ромуальд. Ванда провела неделю в Варшаве и вернулась в имение. Она очень скоро почувствовала холод опустевшего дома. Он, вдруг, показался ей таким молчаливо огромным, что она стала бояться его тишины. Подчеркнуто строгие комнаты казались ей чужими, лишенными тепла, противоречащими ее радостному одиночеству. Они не понимали ее. Когда-то и кем-то созданная их красивая холодность, с отъездом Ромуальда, утратила последнюю теплоту уюта, того уюта, которо-

му иногда хочется доверить свои мысли, сомнения, желания. Портреты многочисленных предков Ро-муальда казались ей ожившими и тоже не понимающими ее. Они следили пытливыми глазами, из тяжелых золоченых рам, за каждым ее движением. Ее пугала немая вереница теней прошлого, самодовольные лица, чья-то саркастическая улыбка, чей-то насмешливо надменный взгляд. Она не могла больше переносить молчаливых взоров, смотревших на нее со всех сторон, и радостно перебралась в свой любимый охотничий домик. В нем она быстро отогрелась, нашла себя. Ушел холод сомнений, и ее разум и сердце забились ясностью желания сегодняшнего дня.

В ней ярким, ослепительным светом загорелось одно желание. Она была переполнена им вся, без остатка. Обычные заботы и интересы жизни, раньше занимавшие ее внимание, куда-то ушли, стали маленькими, ненужными и не тревожили ее сознания.

Она ждала Мравина. Она знала, что он придет и вся томилась радостью ожидания. И это мучительное томление рождало в ней не боль, а твердое сознание того, что уже никто и ничто не сможет ни отнять, ни погасить ее желания. Оно стихийно овладело ею, и она знала, что встреча с Мравиним, это неизбежный рок, который изменит всю ее жизнь. Уходили дни и каждый ушедший день ожидания рождал ночь новых, мучительных сомнений. Но каждое утро просыпалось новыми надеждами. Ванда снова зацвела цветами ожидания и в муках отдавала бессонной ночи увядшие цветы обманувшей надежды. Путались мысли, и она не находила себе места. Временами

она чувствовала, что потерялась, запуталась в своих мыслях, что с одной стороны она не в силах освободиться от гипноза своего желания, ради которого она осталась дома, с другой — не могла поступиться гордостью, гордостью женщины, избалованной поклонением мужчин и оскорбленной его холодным невниманием.

Сегодня Ванда проснулась с тяжелой головой и с необъяснимым разладом в мыслях и душе. Мысли твердили одно, душа бунтовала и требовала другого. Ею овладела повышенная нервность и возбужденность. Она долго лежала с закрытыми глазами, стараясь ни о чем не думать, и когда успокоилась, она встала, подошла к окну, отдернула тяжелую портьеру и настежь распахнула окно. Свежий воздух теплого утра ворвался в комнату, обнял ее, и она, закинув за голову руки, радостно отдавалась его ласке. Яркое солнце, пробираясь сквозь листву деревьев, светило ей прямо в душу, наполняло ее чем то прекрасным, будило ненасытную жажду жизни. И она чувствовала, что солнце оправдывает, очищает ее желание, ее грех. И мысль ее, такая же правая и яркая неслась к нему.

— Что это, любовь?.. Я люблю его?.. Не знаю... не знаю. Да я и знать не хочу. Мне достаточно сознания, что он овладел мной. Он мое счастье, мое спасение, и я перешагну через все, что мешает моему счастью. Я отдам ему мою чистоту, верность, гордость, мой позор. Я заставлю его полюбить меня, и в ласке одной ночи растоплю его гордость. Я вся полна радостным торжеством желания, и он не может не чувствовать его. У меня будет ребенок. Будет только от него.

Мысль погасла. Это был взлет надежды сегодняшнего дня. Он вселил в нее какую-то новую силу веры в то, что сегодня что-то должно случиться. В ней вдруг проснулся погасший интерес к имени. Она побывала в конторе, в оранжерее, на конюшне. Осмотрела лошадей, отправляемых в Варшаву на скачки, приказала поседлать любимого англо-араба, и поехала навестить больную соседку, Ядвигу Желтовскую. Она возвращалась в имение, когда почти отгорели лучи вечерней зари, и густо сиреневые сумерки обняли Высокий Двор. Она шла тополевой аллеей. Через сетку зеленых кружев, где-то далеко зажглась первая звезда, за ней вторая, третья. Зажглись миллионы далеких небесных огоньков. Ванда улыбнулась им и вошла в охотничий домик.

— Алень, дадите мне ужинать через час. Можете идти.

Она села у письменного стола, зажгла маленькую лампу и задумалась. Слева лежало только что полученное письмо Ромуальда. Она прочла его и решила сейчас же ответить на него. Взор упал на перекидной календарь. Она прочитала веселый каламбур, и медленно стала перелистывать белые листочки календаря, читая изречения ученых, поэтов, великих людей.

«Чем больше ты любви безумной мне внушаешь,
Тем больше я тебе обратно отдаю,
Чем больше у меня любви ты отнимаешь,
Тем в сердце чувствую сильней любовь мою».

Эдмонд Ростан.

Ванда закинула назад голову, закрыла глаза, и обладая исключительной памятью, вслух повторил

ла только что прочитанное четверостишие, так метко отвечающее ее внутреннему состоянию. Она посмотрела на календарь. «Воскресенье, 29 мая».

— Пусть будет воскресенье. Пусть будет 29-е мая, — уверенно сказала она и, развивая свою мысль, продолжала. — Пышный весенний бал. Белый бал. Получив приглашение он не может не прийти. Он придет. Игорь, ты придешь! — радостно закончила она.

Ванда порылась в ящике стола, достала тонкого картона двухстороннюю карточку и написала Мравину письмо. Утром она послала письмо с своим человеком и нисколько не была удивлена, что он не привез ответа. Белый бал полностью поглотил ее.



Мравин сам работал Леля, записанного в воскресенье на классную скачку для трехлеток. Сегодня он особенно остался доволен работой жеребца. Он тщательно проверил работу сердца и дыхания лошади, был удовлетворен чутким пониманием посылки и восхищен железным финишем. Сегодняшняя работа, последняя резвая перед скачкой, окончательно убедила его в том, что жеребец имеет все шансы на выигрыш большого приза и золотого кубка. Он потрепал Леля по влажной шее и повернувшись к управляющему, спросил: — Ну как, Адольф Иванович?

— Секунды хорошие.

— А финиш? В 23 четверку. Финишем выиграем.

Мравин отдал распоряжение отправить Леля в Варшаву, где его уже ждал жокей Пиготт, и вернулся домой в прекрасном настроении.

— Лука! Есть почта?

— В кабинете, на столе, барин.

— Хорошо. Подавай завтрак. Я сейчас вернусь, только умоюсь.

Мравин с аппетитом ел свой завтрак и обдумывал, как сложить скачку, чтобы выиграть ее. Он был уверен в лошади и в жокее, и все же побаивался тягучего на дистанцию Агита Любомирского.

— Ни в коем случае с места не вести скачку. Держаться с просветом на четвертом, пятом месте, и только с половины дистанции дать жеребцу маленький посыл, разжечь задор поступательного движения, и к финишевой подтянуться к лошадям, — вслух сказал он, вставая и вытирая салфеткой губы.

Он перешел в кабинет, сел у стола и большим слоновой кости ножом стал аккуратно распечатывать конверты. Он имел привычку откладывать деловые письма направо и личные налево. Прочитав несколько писем и положив их направо, он взял конверт и радостно улыбнулся. Письмо было от Борга, его лучшего друга по полку.

Игорь дорогой,

Спешу сообщить тебе приятную новость. Я, жена и Миша Карсавин будем твоими гостями последнюю неделю апреля. Хотим повидать тебя, поохотиться и разделить твой успех на скачках. Между прочим, в спортивных кругах считают опасным конкурентом твоему Лелю не Агита, как ты писал, а ры-

жую кобылицу Линду. Не знаю кому она принадлежит, но знаю, что скакать на ней будет московский жакей Парнель.

Питотт уже три дня, как уехал в Варшаву. Мы приедем в среду дневным поездом. Вышли на станцию лошадей.

Твой Андрей.

— Какая радость! Наташа, Андрей и Миша будут завтра, — вслух сказал Мравин. Его глаза сияли радостью скорой встречи с друзьями. Он еще раз прочитал письмо и задумался. Радость предстоящей встречи будила в нем другие мысли, мысли непоправимой ошибки оставления им полка. Он любил военную службу, полк, друзей, светскую жизнь Петербурга и, потеряв все это, он временами испытывал невероятное одиночество и не мог считать себя вполне счастливым. Первое время он действительно почувствовал всю прелесть свободы, но это продолжалось недолго, и его душа, против его воли, тосковала о потерянном и невозвратимом. В кабинет вошел Лука.

— Барин, вам письмо от соседа, графа Заком.

Мравин взял из рук старика маленький серый конверт, неторопливо разрезал ножом и развернул две половинки карточки. Взор случайно упал на подпись, — «Ванда Заком».

«Графиня Заком будет рада видеть Игоря Константиновича Мравина, у себя в имении — «Высокий Двор» — 29-го мая, в 9 часов вечера.

Весенний белый бал... Молодежь... Женщины в белом, мужчины во фраках. Во всем люблю красоту.

Ванда Заком».

Мравин поднял голову и с минуту сидел в каком то оцепенении, смотря в одну точку. Засмеялись глаза, улыбнулись губы, и четкая законченная мысль отразилась на лице. Он взял лист бумаги и после небольшого раздумья, написал ответ.

«Очаровательная графиня!»

Нет слов благодарности за ваше внимание ко мне и приглашение, но к моему величайшему сожалению я не смогу разделить веселия вашего белого бала. Причина — неотложные дела в столице и возможное отсутствие.

Мечтою с вами,

Игорь Мравин».

Он запечатал письмо, улыбнулся, откинулся в кресле и позвонил. Вошел Лука.

— Старик, передай это письмо посланному графа Заком.

— А он уехал, барин.

— Как уехал?

— Передал письмо и уехал.

— Почему же ты его не задержал?

— Коли нужен был бы ответ, сам бы не уехал.

— Хорошо, можешь идти.

Мравин бросил письмо на стол, встал и заходил по комнате. Он мог бы послать письмо с своим служащим, но он этого не сделал.

— Женщины в белом... Мужчины во фраках... Во всем люблю красоту. Красивый каприз красивой графини, — саркастически улыбаясь повторял он, шагая по кабинету. Он остановился, с минуту о чем то подумал и сам решил ехать на станцию, чтобы лично присутствовать при отправке Леля в Варшаву. Со станции он вместе с Адоль-

фом Ивановичем объехал нескончаемые пашни молодых хлебов, задержался на стройке новых барakov для рабочих и, к неудовольствию Луки, на час опоздал ко второму завтраку.

— Лука!

— Что прикажете, барин?

— Мой фрак здесь?

— В Петербурге оставили.

— Почему в Петербурге?

— Не могу знать. Вы ничего не сказали, а я так соображал, что ни к чему он в деревне. Вещь городская.

— Соображал, соображал. Совсем поглупел на старости лет. Ты бы лучше соображал, что может представиться такой случай, когда фрак будет нужен.

— А коли не сегодня нужен, Игорь Константинович, можно съездить в Петербург и привезти. Далека ли дорога?

— Сам знаю, что можно съездить. Никто не спрашивает твоих глупых советов, — повысив тон, раздраженно ответил Мравин.

— Простите, барин. Я служу вам по совести, как служил вашему батюшке, — чуть слышно ответил слуга, низко опустив голову.

Мравину стало стыдно, что он, ни с того ни с сего, обидел старика. Он прошелся два раза по комнате, остановился и нервно потирая лоб и не смотря в глаза Луке, сказал: — Я ценю твою службу и верность. Ты это знаешь, старик.

— Как не знать, покорно вас благодарим.

— А вот радость у нас есть, старина. Большая радость. Завтра гости приезжают. Отгадай кто?

— Не могу знать.

— Борг с женой и Карсавин. Ты помнишь их?

— Как не помнить. Первые господа. И барыня, Наталья Павловна, приедут?

— Тоже приедет. Так я надеюсь на тебя. Чтобы все было . . .

— Не извольте сомневаться. От Мравиных никто голодным не уходил. Порядок соблюдем.

— Боргов устроишь наверху, а Карсавина внизу, в угловой комнате, что окнами в сад выходит. Понял? Можешь идти.

— Слушаюсь, барин, — почтительно ответил Лука и вышел из комнаты.

Мравин вернулся в кабинет. Взор упал на маленькую серую карточку. Он задумался. Им овладело чувство сомнения в правильности своих мыслей и поступков. Он взял карточку, внимательно прочел ее, отложил в сторону и опустился в кресло. Целый ряд вопросов встал перед ним. Они требовали от него ответа, прямого и ясного ответа. Ответа он дать не мог. Его не было, а были странные, непонятные мысли, противоречащие одна другой.

— И никуда я не поеду . . .



В 4 часа следующего дня, Мравин в коляске, запряженной парой рыжих лошадей, выехал на станцию железной дороги встречать друзей. Для Борга и Карсавина были посланы оседланные лошади.

Наташа Борг была ровесницей Мравина. Они вместе росли, учились, шалили, и юношеские годы спаяли их крепкой, настоящей дружбой. Наташа

духовно и физически была интересной женщиной. Брюнетка с большими, всегда задумчивыми, карими глазами. Она легко останавливала на себе взоры мужчин, легко и умело пользовалась своими чарами и нравилась им. Мравин никогда не увлекался ею. Он любил необыкновенную теплоту ее души. С ней было всегда легко и просто, вот почему Мравин решил семь верст пути от станции до имения провести в обществе Наташи. Он не видел ее три с половиной года.

Поезд пришел без опоздания. Экипаж тронулся. Лошади дружно побежали по проселочной дороге между волн зеленых хлебов. По бокам экипажа на кровных гнедых лошадях ехали Борг и Карсавин. Экипаж свернул в редкий перелесок и скоро выбежал на узкое шоссе. Навстречу им, на светло сером англо-арабе, амазонкой, ехала дама. Мравин о чем то весело говорил с Наташей. Она хохотала и нежной рукой трепала его по щеке. Лошади поравнялись с всадницей и, чтобы разъехаться на узкой дороге, пошли шагом. Красивая голова амазонки, с выбившимися белокурыми волосами из под низкого котелка, повернулась в сторону экипажа. Мравин снял кэпи, поклонился и встретился с гневно удивленными глазами Ванды. Чуть уловимый саркастический взгляд скользнул по Наташе. Момент, Ванда сделала какое-то движение в седле и с места подняла лошадь на галоп. Англо-араб грациозно вскинул правую переднюю и быстро стал удаляться.

— Боже мой! Какая прелесть! Кто такая? Ты знаком? — восторженно спрашивала Наташа, взглядом провожая Ванду.

— Моя соседка по имению. Графиня Ванда Заком.

— Очаровательная. Сколько простоты, элегантности, достоинства во всем: в амазонке, в этом сером котелке, в посадке, в наклоне головы. Между прочим мне показалось, что графиня осталась не совсем довольна, увидев меня с тобой. Ты еще не потерял голову?

— Не потерял и не собираюсь терять, — с улыбкой ответил Мравин.

— А почему ты не смотришь мне в глаза?

— Изволь, пожалуйста, — сказал Мравин, повернув лицо к Наташе.

— Твои бегающие глаза говорят совсем другое.

— Это тебе кажется, Наташа.

— Ну, что ты лукавишь. Хочешь обмануть женщину? Это тебе не удастся. Будь я на твоем месте, я наделала бы столько глупостей и никогда бы не жалела о них. Они были бы самыми красивыми и светлыми глупостями моей холостой жизни. Ну, рассказывай, рассказывай все по порядку. Мне хочется узнать, как глубоко ты затонул.

Мравин рассказал Наташе случай единственной встречи с Вандой, впечатление, которое она на него произвела, вскользь коснулся вчерашнего письма, своего ответа.

— Ты понимаешь, я чувствую в этой женщине что то роковое для себя. Это единственная причина, почему я избегаю встречи с ней.

— И глупо делаешь. Она уже овладела тобой. И чем дольше ты будешь избегать ее, тем сильнее будешь разжигать в себе желание видеть ее.

— Но у нее есть муж, а ты знаешь мои принципы.

— Совершенно неважно, что есть муж. Ты с ним знаком? Нет, я положительно не узнаю тебя. Поселился в деревне и потерял вкус к жизни, к ее волнующей остроте. Не мужчина, а какая то сметана. Поверь мне, при более близком знакомстве ты скоро увидишь ее недостатки. Она сама сойдет с пьедестала, и тогда, погасив обычное влечение мужчины к женщине, ты совершенно спокойно отойдешь. Мой совет, — поезжай на бал. В приглашении есть что-то интригующее.

— Н и к о г д а .

— Ведь все равно поедешь.

— Не поеду.

— Поедешь.

— Нет.

— Ну хорошо. Спорить не будем. Пусть будет по твоему — «не поедешь». Но мне почему то ужасно хочется хоть раз в жизни быть правой. А то всегда и во всех случаях жизни правы бывают только мужчины, а мы женщины какая то вечная ошибка.

— Милая Наташа, в данном случае ошибка и очень большая.

— Хорошо! Пари!

Наташа протянула Мравину маленькую холеную руку. Он поцеловал ее.

— Пари на честность. Если поедешь, телеграфируй мне и не забудь послать пять фунтов шоколада от Крафта. Это мой выигрыш.

— Долго придется тебе ждать его.

— Не так долго. До 29 мая. Ты сказал 29-го? — лукаво улыбнувшись спросила Наташа.

Лошади въехали в ворота имения. Лука принял небольшой багаж приезжих. Все разбрелись

по своим комнатам, умыться и переодеться после дороги, и через час все сели за стол, обильно уставленный холодными и горячими закусками. Мравин был хлебосол, любил поест и умел угостить.

Ранний ужин протекал в веселых дружеских тонах, и разговор все время вращался вокруг жизни полка и столицы. Борг упомянул о необычайной карьере ровесника Мравина, Скрябина, получившего чин полковника и назначенного военным аташе при русском посольстве в Вене. В подсознании Мравина мелькнула мысль о все той же непоправимой ошибке, изменившей курс всей его жизни. Перешли на сплетни петербургских салонов и Мравин оживился. Замелькали знакомые места, лица, белые ночи, Нева, Черная речка.

— А ты знаешь, Игорь, хочу оставить полк. Хочу поступить к помещику Мравину, конюшенным мальчиком. Копыта чистить, хвосты лошадям чесать, — рассмешил всех Миша Карсавин.

— Странная идея. Почему?

— Да ты понимаешь, хочу быть поближе к этому необыкновенному сюжету, именуемому — «графиня Заком». Обольстительна, прекрасна. Волшебница.

— Я бы не хотел, Михаил, чтобы ты больше развязывал свой язык, говоря об этой даме, — жестко сказал Мравин, стальными глазами смотря на Карсавина.

— Прости, Игорь.

— Мы не в холостой компании. Среди нас дама, — холодно закончил Мравин.

Момент неловкости был нарушен Лукой, принесшим шампанское. Все оживились, пили за полк, за Наташу, за Мравина, за графиню Заком. Ту-

рецкое кофе пили в маленькой гостиной. Наташа и Мравин, вспомнив юношеские годы, играли в четыре руки. Рано разошлись спать, так как с рассветом решили ехать на охоту, дабы не пропустить утреннюю тягу.



«За что я получил два хлыста?» — недоумевал разгоряченный галопом англо-араб, покачивая на гибкой спине легкое тело Ванды и по удилам чувствуя ее нервность. Ванда действительно нервничала. Что послужило поводом к внезапной нервности, она не знала, или знала, но не хотела в этом сознаться себе. Она почувствовала, что в душе у нее вдруг стало неясно, а в чем заключалась эта неясность, она еще точно не могла определить. Лошадь пробежала широкие ворота и остановилась у конюшни. Ванда слезла, передала конюху повод и, резко размахивая стэком, быстро направилась в дом. Повернув потную голову в сторону удаляющейся Ванды, лошадь тихо заржала, словно спрашивала: — «А где же сахар?»

Ванда поднялась в свою комнату. Вошла Аленья и помогла ей переодеться.

— Аленья! Если кто-нибудь придет и будет спрашивать меня, я буду в охотничьем домике. Ужин, как обычно, — на ходу бросила она и, чувствуя свое бьющееся сердце, быстро сбежала по лестнице. За последнее время она особенно любила свой охотничий домик, полюбила за то, что он один знал ее мысли — ее тайну. Она на минуту задержалась в гостиной, подошла к большому зеркалу, удивленно посмотрела на свое отраже-

ние, как будто не узнала себя и, войдя в спальню, упала на кровать. Она долго лежала, не подымая головы. Тихие слезы катились из ее глаз. Это были слезы ревности. Случайная встреча с Мравинным в обществе незнакомой Ванде женщины отравила ее смутным чувством какой-то тревоги, боязни. Боязни чего? Боязни потерять его. Она села на кровати и простонала: — Я не могу больше. Я потерялась, измучилась. Я не чувствую его, не знаю его жизни. Она закрыта от меня. Я знаю, глупо ревновать, но чтобы не ревновать, я должна его видеть, быть с ним. Но как это сделать? Самой искать встречи? Я послала письмо. Он даже не счел нужным ответить на него. Правда, это приглашение на бал, но все равно унижение. Я женщина и больше унижаться не могу, не буду. Боже, как тяжело. Я ничего не знаю. Не знаю, что он делает, думает, чувствует. Она схватила голову руками и долго смотрела в одну точку. Перед глазами мелькнул экипаж, серая с большими полями шляпа, удивленно снисходительный взгляд больших карих глаз. Чтобы отогнать ревнивые мысли, снова охватившие ее, она порывисто встала и заходила по комнате. Взор упал на портрет, написанный с нее итальянским художником во время ее свадебного путешествия.

— Бедная Ванда... Почему ты такая несчастная? — тихо сказала она и снова зашагала по комнате.

— Чего я удивляюсь? Это обычная жизнь всех свободных мужчин. И он, конечно, не является исключением. Тогда бы он не был мужчиной. Животный позыв и любая женщина. Да... да... любая. Закон жизни... закон дикаря. Я моложе,

Красивее её... честнее... чище. Я сознательно иду на этот шаг. В нем оправдание всей моей дальнейшей жизни. Я не боюсь последствий, не хочу скрывать своего желания. Это порыв, стихийный порыв, но я люблю его. Он для меня выше всех благ жизни. Мне ничего не нужно, кроме этого маленького счастья. Я не выдумала его разумом. Что-то внутри меня борется за него, и оно будет моим. У меня будет ребенок и только от него, ни от кого другого. Если бы он только знал, как мне тяжело, как я устала ждать его. Но разве мужчина умеет чувствовать? Только женщина может желать и любить. — Ванда на минуту задумалась и сердцем поняла, что ее влечение к Игорю уже не может быть остановлено. Она села перед зеркалом и чуть слышно, шопотом продолжала: — Милый мой, я поздно встретила тебя. Я знаю, наше счастье будет коротким, очень коротким, но я его никому не отдам. Ты слышишь? Никому! Что будет после...

Послышался стук в дверь. Ванда от неожиданности вздрогнула и повернула голову.

— Кто там?

Вошла Алень.

— Барыня, какой-то незнакомый господин желает видеть вас.

— Незнакомый? — радостно переспросила Ванда.

— Ну, что же вы стоите? Проводите его в беседку. Скажите, что я сейчас буду. Идите. Приготовьте кофе. Дайте чтонибудь закусить. Идите. Игорь! Милый, приехал... Моя радость... Мое спасение. Но как же я с заплаканными глазами, в домашнем платье? Боже, какая я глупая. Ну при-

чем здесь домашнее платье, глаза. Приехал... Она быстро поправила волосы, надела на шею нитку мелкого жемчуга, припудрила чуть покрасневшие от слез веки глаз. Счастливая улыбка отразилась в зеркале шифоньера.

— Не надо, не надо волноваться, — торопливо сказала она зеркалу и вышла. Она шла по аллее с опущенной головой и вся светилась счастьем ожидавшей ее встречи. Румянец волнения залил ее лицо. Чем больше она старалась успокоить себя, тем сильнее билось ее сердце.

— Глупое, не надо так. Приехал... теперь все ясно, светло, — торопливо повторяла она. Вдали мелькнули колонны беседки, его фигура. Он стоял спиной к ней. Ванда ускорила шаг, и переполненная счастьем ниже опустила голову. Инстинктом она почувствовала ступеньки беседки.

— Графиня Заком? — послышался приятный мужской голос.

Ванда подняла голову. Перед ней стоял атлетического сложения красивый мужчина. Глубокий шрам через всю левую щеку не безобразил его лицо, а придавал ему оттенок мужественности. От неожиданности она растерянно ответила: — «Да, графиня Заком».

— Станислав Щавинский. В обиходе жизни просто — «Стась», — улыбаясь серыми глазами, произнес незнакомец.

— Очень рада... Вы наверно к мужу? Какая жалость. Он в отъезде и вернется только через месяц.

— Очень опечален отсутствием дяди Ромуальда. Я прямо из Африки и после семилетней разлуки счел долгом навестить его.

— Вы племянник мужа?

— Сын его родной сестры. Дядя не в ладах с мамой, и кажется пожизненно. Но я тут не при чем. Не правда ли?

— Очень рада познакомиться, — сказала Ванда, протягивая руку Щавинскому.

Он поцеловал руку Ванды и с той же веселой улыбкой продолжал: — Удивительно и непостижимо, как в маленьком моменте жизни одновременно переплетаются печаль и радость. Только что был огорчен отсутствием дяди, а сейчас весь поглощен радостью знакомства с его очаровательной супругой. Невероятно, непостижимо, — закончил он, пристально смотря в глаза Ванды.

— Садитесь пожалуйста, господин...

— Щавинский.

Он выждал момент пока Ванда села, и сам опустился в плетеное кресло.

— Ромуальд упоминал вашу фамилию, но никогда не говорил мне о вас. Странно.

— Графиня приписывает это странности, а я забывчивости. Очередь еще не дошла. Африка слишком далеко.

— Нет, вы серьезно из Африки?

— Совершенно серьезно.

— Как интересно.

— Что интересно? Иметь родственника африканца?

— Нет. К моему стыду, я очень мало знаю об этой стране. Знаю только, что где-то очень далеко есть Африка. Правда, немного?

— Да, познания скудные.

— Но я надеюсь, что вы пополните их, расширите их.

— С величайшим удовольствием, но в трех словах Африку не охватишь. Она слишком большая и слишком интересная.

— Почему в трех? Разве вы куданибудь торопитесь?

— Абсолютно никуда, но...

— Вы приехали к дяде, и с моей стороны было бы очень не тактично отказать вам в родственном гостеприимстве.

— Графиня незаслуженно добра, — наклоняя голову, с оттенком благодарности сказал Щавинский.

— Правда, жизнь в деревне тиха и монотонна, но если господин Щавинский не имеет более интересного и не боится деревенской скуки...

Ванда не закончила фразы, мысль ее оборвалась, властно куда-то побежала, коснулась Мравина и незнакомой женщины и отложила в мозгу реальной необходимостью удержать Щавинского, чтобы иметь возможность с кем-то появляться в обществе. Словно придя к определенному решению, она улыбнулась и, не смущаясь противоречием только что сказанным словам, продолжала: — Но все это только для тех, кто никогда не был в деревне. Деревня имеет свою прелесть, свой особый аромат. Охота, сейчас как раз тяга утки и вальдшнепа. Сосновый бор. Грибы: маслята, рыжики, опенки. Поездки верхом. Любите лошадей?

— Моя страсть.

— Как чудно, и моя тоже. В ближайшие дни на ипподроме, в Варшаве, скачки. Наши лошади участвуют. Вы игрок?

— Люблю риск во всем.

— Превосходно.

— Барыня, кофе на столе, — доложила Аленья.

— Хорошо, идите. Прошу, господин Щавинский.

— Называйте меня по родственному просто Стась.

— Вы наверно проголодались с дороги? Сейчас мы закусим, а ужинать будем позднее.

Они шли по сочному зеленому ковру, отделявшему беседку от дома. По углам в рамках темно фиолетового гелиотропа горели клумбы красных маков.

— А поздним вечером, — продолжала Ванда, — когда ночь поглотит последние сумерки... музыка. Любите музыку? Играете?

— Люблю слушать, сам не играю.

— Любимый композитор?

— Фредерик Шопен.

— Я протестую. Шопен мой. Когда я играю, мне кажется, что я одна понимаю его и он слышит меня. Музыка часто говорит больше, чем слова.

— Вы правы, графиня, но будьте снисходительны. Пусть на этот раз Шопен будет ваш. Вы будете играть, а я слушать.

Они вошли в столовую и сели за стол.

— Все складывается так, господин Щавинский, что мне будет не трудно расцветить ваше случайное пребывание здесь: романтикой, азартом, музыкой, весельем. В конце мая, я даю белый бал, здесь в имении. Будет молодежь, окрестные соседи.

— Простите за нескромный вопрос, почему белый? Мне кажется что...

— Лишь только потому, что все женщины будут в белых платьях, ну а мужчины, само собой разумеется...

— Во фраках? Ваша идея?

— Моя.

— Стильно и красиво.

— Во всем люблю изящество и красоту. Познакомлю вас с интересными барышнями. Уверена, что потеряете голову и сердце.

— Африканское сердце не так легко теряется.

— Советую обратить внимание на Ядвигу Желтовскую. Необыкновенно хороша, и во всем хороша. Я часто сожалею, почему я не мужчина. Воображаю, сколько глупостей я бы натворила.

— А разве одни мужчины творят глупости? — с веселой улыбкой спросил Щавинский и, не дожидаясь ответа Ванды, воскликнул: — Не люблю повторяться, но жизнь положительно непостижима. Скажите графиня, думали ли вы, что сегодня, вот так просто, с глазу на глаз, будете в обществе кровожадного африканца?

Он сделал гримасу кровожадности на своем красивом лице. Ванда весело улыбнулась.

— Ну, конечно нет, но могу я рассчитывать, что наш первый разговор мы посвятим Африке? Вы обещали.

— Никогда не отказываюсь от данного обещания, но что собственно интересует вас, графиня?

— Все: страна, люди, нравы, обычаи, жизнь.

Щавинский выпил рюмку холодного полынка, не торопясь закусил, вытер салфеткой губы, и после небольшого раздумья несколько торжественно начал:

«О здравый смысл,
Ты убежал к зверям,
А люди свой утратили рассудок».

— Великий Шекспир. Великие слова.

— Про кого? Про дикарей?

— Нет, про нас . . . Ведь мы тоже дикари, только мы культурные, рафинированные дикари, а африканцы примитивные. И спорный вопрос, какой дикарь лучше. Белый воротничек и белые перчатки не всегда отражают чистоту помыслов и души. А они не носят ни воротничков, ни перчаток. Конечно, говоря эти слова, Шекспир меньше всего думал об Африке, но они очень подходят для определения страны: звериного здравого смысла и международной авантюры, где утратившие рассудок авантюристы все время ходят по грани жизни и смерти. Я говорю о преждевременной смерти, в рамке моей работы, с которой я связан десятилетним контрактом.

Щавинский остановился, налил в бокалы шато-лафит и, откинувшись на спинку стула, продолжал: — Леопарды, носороги, львы, дикие кабаны, пантеры и прочая менее опасная мелочь. Мы, утратившие рассудок, отравленные алчностью наживы, охотимся за ними, а они, впитав в себя шекспировский здравый смысл, за нами. Конечно, чаще побеждает человек, но бывают случаи, и они не единичны, когда мы платим своей жизнью здравому смыслу хищника. Воля, храбрость, находчивость не всегда спасают. Не верю в чудеса, но случай происшедший со мной, вынуждает меня признать существование чего-то высшего, что люди и называют чудом. Откровенно говоря, не осо-

бенно люблю вспоминать этот случай и делаю это исключительно для вас, графиня, в порядке расширения ваших познаний об Африке.

— Спасибо, вы очень любезны.

— Буду краток. Подробности ни к чему. Текучая вода. Я выследил и удачно убил, на языке охотников — «снял» огромную черную пантеру. Секунда . . . Кровавая месть. Я был оглушен страшным ревом сзади и попал в объятия другой. Три выстрела в пасть спасли меня, но в предсмертных судорогах она подмывала меня под себя, тащила для расправы в чашу, обливала липкой теплой кровью. Я видел ужас смерти в ее глазах. Ей так хотелось жить.

Щавинский задумался, дотронулся рукой до шрама на щеке и после большой паузы, сказал: — Память на всю жизнь.

— Боже, как страшно. Воображаю, какой ужас вы пережили. Но как же и зачем люди там живут?

— Так же, как здесь. Только, понимаете, все черное. Люди может быть очень хорошие, но черные. Черная жизнь, черная смерть. Все черное: любовь, ревность, страсть, ложь, правда . . . черные измены.

Щавинский остановился, и словно желая узнать впечатление, произведенное его словами, посмотрел в глаза Ванды. Он не увидел их. Они смотрели куда то поверх его головы, но и в отсутствующем, куда то устремленном взгляде он почувствовал ее смущение. Улыбка скользнула по его губам. Ему показалось, что он понял причину ее смущения.

— Как и везде, властвуют женщины, — преувеличенно громко сказал он.

Освободившись от своих мыслей, Ванда повернула глаза на него.

— Почему вы удивленно посмотрели на меня? Не верите? Да... да... женщина. Почему-то совершенно необоснованно женщину принято считать «слабым полом». В своей основе неправильное суждение. Каждая женщина таит в себе невероятную, потрясающую силу, для определения которой нет слов. Вы понимаете, нет... Женщина это свет и мрак жизни. Женщина, это амплитуда колебания жизни, это спираль, пружина, центробежная сила, владеющая самым сложным механизмом жизни. И эта могучая сила в каждой женщине разная. Она, как женщины, многолика, многогранная и определяется все тем же словом... «ЖЕНЩИНА». Женщина может быть некрасива, уродлива, неумна, порочна, но властвует, если нашла в себе эту силу, поняла ее, почувствовала. То или иное приложение этой силы к мужчине дает разные всходы. Счастье и горе, зло и добро, подвиг и преступление, верность и измены. И вы понимаете, что все это в руках женщины.

— Я не совсем согласна с вами, господин Щавинский. Вы полностью обезличиваете мужчину, но я уверена, что сами вы не хотели бы быть обезличенным.

— Дело не в обезличивании, а в овладении мужчиной. Возьмите историю. Разительные примеры. Королева Елизавета, императрица Екатерина, Помпадур, Марина Мнишек, Жозефина. Но оставим в стороне историю. Вы возразите, что это были необыкновенные женщины. Необыкновенных женщин нет. Возьмем окружающую нас жизнь. Жизнь обыкновенных мужчин и обыкно-

венных женщин. Я далек от мысли вмешиваться в вашу личную жизнь, но скажите честно, кто властвует в вашей жизни?

— Никто. И я считаю, что это самая лучшая форма жизни.

— Позвольте мне не согласиться с вами. Мне думается, что вы наиболее яркая выразительница этой силы. Вот так же на небе бывают более яркие звезды. И почему то всех тянет именно к ним.

— Вы преувеличиваете, говорите комплименты. Я не люблю их, господин Щавинский. Я самая обыкновенная женщина. Вы сами сказали, что необыкновенных женщин нет, а теперь сами противоречите себе.

— Нисколько. Вы же не будете отрицать того, что сила вашего притяжения так велика, что вызывает в мужчинах реакцию поклонения и восхищения. Разве это не правда?

— Вы заставили меня покраснеть.

— Женщины чаще краснеют от правды, чем от комплиментов.

— И все равно я с вами не согласна. Нити жизни очень часто находятся в руках мужчины.

— Это только тогда, когда женщина не нашла себя, не поняла своей силы. На дороге жизни — сорная трава... пустоцвет.

Ванда на секунду задумалась. Почему то вдруг перед глазами встал Мравин. Она хотела что то возразить Щавинскому, но, встретив его пристальный взгляд, смутилась и ничего не сказала. Состояние Ванды передалось Щавинскому, и с ноткой сожаления в голосе он спросил: — Своим резким суждением, я, кажется, коснулся чего-то табуированного? Простите, я не имел этого ввиду.

— Нет, вы не коснулись ничего и никого. Только не будем углублять этого вопроса. О нем можно говорить, спорить в рамках абсолютной объективности. К тому же мы стоим на разных полюсах. Вы на южном — «африканском», я, очевидно, на северном, — с кокетливой улыбкой закончила Ванда.

— Мне еще надо устроить вас. Вы наверно устали с дороги, хотите отдохнуть. Есть у вас вещи? — вставая спросила Ванда.

— Небольшой чемодан. Я оставил его в беседе.

Ванда позвонила. Вошла Алень.

— Алень, прикажите принести чемодан господина Щавинского, он в беседе.

— Я уже принесла, барыня.

— Тогда перенесите его в угловую комнату, внизу.

— Слушаюсь.

— Я думаю, вам будет хорошо в ней. Просторная, светлая, много воздуха, а на случай бессонницы отдельный выход в сад. Что может быть лучше парка при лунном освещении, когда он дремлет, и ты живешь его случайными шорохами. А теперь я покидаю вас до ужина. Я обещала быть у соседки Желтовской.

— Спасибо, графиня, за заботу. Терпеливо буду ждать вечера, — ответил Щавинский, низко наклонив голову.

Ванда подымалась по лестнице в свою комнату, стараясь разобраться в мыслях и словах случайной встречи. Кто то незримый шел за ней и на каждой новой ступеньке повторял: — «Сорная трава». Она вошла в комнату и неожиданно для са-

мой себя усумнилась в правильности своего поступка.

— Зачем я оставила Щавинского? — спросила она себя и не сумела ответить на заданный себе вопрос.

*

Вечером, после ужина, в маленькой уютной гостиной, Ванда играла Шопена. Щавинский сидел в глубоком кресле и издалека смотрел на чуть подсвеченное огнем двух свечей лицо Ванды. Он мелкими глотками отпивал из бокала старую мадеру и чувствовал, как приятно хмелеют его мысли. Не он сам, а мысли.

Ванда играла 3-ю балладу Шопена. Глубокая нежность вступительной фразы прозвучала для Щавинского «вопросом». Он не мог разобраться вопросом «чего». Он только чувствовал, как настоячивые звуки мелодии овладевают всем его существом, требуют его ответа. Он не успел еще ответить на заданный музыкой вопрос, как другая мелодия, убаюкивающая и нежная, ясно сказала ему, что поставленный вопрос касается только его и Ванды. Он закрыл глаза. Звуки умирали в чуть слышном пьянисимо.

Какой ужасный яд музыка, — подумал он. — Волшебный, приятный яд, но как он разрушает душу. Куда-то влечет. К чему-то зовет. Рождает новые чувства. Гипноз... Губительный гипноз. И нет силы освободиться от него.

Вдруг мелодия зазвучала взрывом отчаяния. В гармонии грандиозного нарастания сильных, ярких, вызывающих звуков слышалась тоска недо-

влетворенности, и ясно чувствовался все тот же неразрешимый вопрос, запретным ядом желания отравляющий мысли Щавинского.



Лука разбудил всех в 4 часа утра. Наскоро позавтракав, все на большой линейке поехали на охоту. Утро проснулось спокойное и ясное. Место тяги было в смешанном лесу у реки. Она только освобождалась от мягкой ваты утреннего тумана. Охотники разошлись по местам. Мравин остался с Наташей. Началась тяга торопливой утки. Скоро, с разных сторон слышались редкие выстрелы. Белый в черную крапинку лаверак стоял у ноги Мравина, и после каждого выстрела перебежал от одного охотника к другому, умными глазами спрашивая, не нужна ли его помощь. Тяга была удачная. Наташа сняла утку, Мравин трех вальдшнепов, Борг и Карсавин по одному. Карсавин уверял всех, что снял еще двух крякв, но они упали в топкое место и он не нашел их. Собака, виляя хвостом, умными глазами смотрела на него, как бы спрашивала: — «Зачем ты говоришь неправду?»

В хорошем настроении все вернулись домой. После сытного завтрака Наташа и Карсавин остались дома, а Борг и Мравин пошли осматривать имение. Борг с увлечением смотрел на все усовершенствования, сделанные Игорем в имении. Он пришел в восторг от маленького манежа, рабочего круга для тренировки скакунов, и образцового состояния конского завода. Они переходили от одного денника к другому, и Мравин рассказывал другу родословную каждой лошади, резвость и ре-

корды родителей и в заключение продемонстрировал другу приплод двух последних лет. Друзья возвращались домой тенистой аллеей.

— Я преклоняюсь перед твоей энергией, Игорь. В такой короткий срок, я бы сказал, ты сделал невозможное.

— Не хвали меня. Я больше скитался за границей. Это заслуга Адольфа Ивановича.

— Но надо полагать, что он все делал согласно твоим желаниям и указаниям. А это и является показателем твоей любви к делу, у которого ты стоишь. Адольф Иванович только хороший исполнитель. Я знаю, ты всегда любил землю. Это у тебя наследственное, от отца, и все же мне кажется, что в твоей теперешней жизни отсутствует один очень важный элемент.

— Какой?

— Ж е н а .

По лицу Мравина скользнула легкая улыбка, но он ничего не ответил, чем вынудил Андрея продолжать.

— Мы с тобой ровесники, Игорь. Нам по 30 лет. Недалеко и до старости. Конечно, я не берусь спорить, может быть ты знаешь женщин лучше чем я, но мне почему то кажется, что тебе пора кончить это — «хождение по мукам».

— Каким мукам?

— Так я называю случайные встречи, связи, увлечения, разочарования. Необходимая накипь жизни. Пора строить жизнь, Игорь, а для этого есть только одно средство — женитьба. Я это почувствовал на себе. Через Наташу я познал сразу всех женщин, познал их в достаточной степени сложную сущность. Ты пойми, что женщина вре-

менного желания является прежде всего тормазом твоей деятельности, твоего полета в жизни. Она отнимает у тебя время, мысли, силы. Ты всегда занят. Чем занят? Репетицией спектакля жизни. В них есть и случайная героиня, есть и герой — это ты, есть романтика, мелодрама, но есть и пошлый фарс лжи. Лжи мыслями, словами, телом. Мы мужчины, в особенности мужчины твоего толка, окружаем ореолом чистоты случайные связи, стремимся сделать из них, что-то большое, красивое, острое и в награду получаем увядшие цветы разочарований. Ты сам не раз говорил, что каждая женщина разная, и все они одинаковы, что белоснежное белье часто не является показателем чистого тела и души. Ну и довольно, пора остановиться. Пора играть пьесу жизни, а она немыслима без жены.

— Не понимаю, Андрей, почему ты вдруг решил выступать в роли свахи? Она тебе не идет, — с улыбкой сказал Мравин.

— Чтобы предостеречь тебя.

— Предостеречь? От чего?

— От новой ошибки. От нового разочарования.

— Я не понимаю тебя.

— Вчера за ужином ты совершенно правильно одернул Мишу, когда он позволил себе коснуться физических достоинств графини Заком.

— Мы были не одни. С нами была Наташа.

— Совершенно правильно. Одна сторона — бестактность Миши, вторая — твой ответ на эту бестактность. Вот он то и убедил меня в том, что графиня тебе не безразлична.

— Глупости.

— Что между вами есть, или намечаются отношения, выходящие за пределы обыкновенного знакомства. Так я почувствовал.

— Я видел графиню всего лишь один раз.

— Это не меняет дела.

— Не скрою, она произвела на меня впечатление, оставила какой-то след. Но ты знаешь мои принципы, и в угоду графине я не собираюсь их нарушать.

— И правильно делаешь.

— Я умышленно избегаю ее.

— А вот это неправильно. Почему избегаешь? Если ты уверен в себе, в незыблемости и несомненности своих принципов, почему ты должен ее избегать?

— Не знаю. Мне кажется, что я поступаю правильно. В канун вашего приезда я получил письмо с приглашением на белый бал. Письмо было подписано графиней. Я на бал не еду.

— Ты ответил на письмо отказом?

— Я написал ответ, но еще не отослал его.

Почувствовав в поступке друга опасное колебание, Борг на секунду задумался и, как бы найдя выход, весело сказал: — И не посылай. Какого чиста бал?

— 29 мая.

— Отлично. Числа 15-го, 16-го лично заезжай к графине и конечно с извинениями. Ну, да тебя не учить. Скажи, что очень сожалеешь, что собирался, но что неотложные дела требуют твоего присутствия в Петербурге.

— Но ведь это ложь.

— Необходимая ложь, которую правильнее сказать лично, чем в письме. А не хочешь лжи, сотво-

ри из нее правду. На поезд и к нам. Я и Наташа будем очень рады. Соберем друзей, старое вспомня-нем, пошумим. А кто знает, может и невесту найдем тебе. Хорошие мысли всегда рожают правильные решения. Согласен?

— Согласен.

— Даешь слово?

— Да ю .

Друзья крепко пожали друг другу руки. Они вошли в сад. Навстречу им шла Наташа.

— Наташа! Ты не представляешь себе, какая радость у нас. Двадцать девятого мая у нас гость. Игорь приезжает к нам.

— Правда? Как чудно. Я так рада.

Она с разбега обняла Игоря и шопотом сказала ему на ухо: — Пропали мои конфеты. Проиграла.

Незаметно пробежали три дня, и в субботу утром, скорым поездом, друзья выехали в Варшаву на скачки.

* *

*

В воскресенье 4-го мая варшавский ипподром разыгрывал крупный приз для трехлеток в гладкой скачке на две версты, с выдачей победителю золотого кубка. День скачек выдался ясный и безветренный. Дорожка и воздух были легкие, и спортсмены ожидали новых рекордов. Приз трехлеток оспаривали 12 скакунов. В скачке принимали участие три столичных жокея: Дуган и Парнэль из Москвы, и Пиггот из Петербурга. Задолго до начала скачек публика заполнила огромные трибуны, и они жужжали, как роившийся пчель-

ник. Мравин проводил Наташу, Борга и Карсавина в свою ложу, и заторопился в конюшню.

— Не волнуйся, Игорь. Лель выиграет. Я видела хороший сон, к деньгам, — с веселой улыбкой сказала Наташа вслед уходящему Мравину.

Мравин был в нервном напряженном состоянии, но как всегда спокоен и медлителен в движениях. Он только что узнал из программы, что Линда, самая опасная конкурентка его Лелю, принадлежит графине Заком. Он шел не торопясь, подсознательно улыбаясь своим мыслям, и так же подсознательно разжигая в себе желание во что бы то не стало выиграть скачку. Навстречу ему конюха вели лошадей первой скачки. Он остановился, пропустил лошадей и быстро пошел в конюшню, где находился его Лель. В конюшне его встретили старший конюх и, прибывший из Петербурга всего на одну скачку, жокей Пиггот. Мравин вошел в денник, быстрым взглядом окинул формы лошади, и рукой дотронулся до атласной шеи Леля. Лошадь прижала уши, и зло мотнула головой.

— Нервничает. Лучше не беспокоить его, — заметил Пиггот.

— Вы правы, — ответил Мравин, закрывая тяжелую дверь денника.

— До половины дистанции, как я вам говорил, держитесь четвертого, пятого места. Ни в коем случае не ведите скачку. Верный проигрыш. Не смущайтесь тем, что далеко отпали. У жеребца потрясающий финиш.

Пиггот равнодушно слушал Мравина и ничего не ответил. Он не любил, когда перед скачкой кто-либо давал ему советы. Мравин заметил его недо-

вольство и замолчал. В глубине конюшни на развязке стояла рыжая кобылица Линда. Один конюх, что-то тихо напевая, вплетал в ее гриву узкие желтые ленточки, другой растирал бабки задних ног, и укутывал их белыми бинтами. На секунду взор Мравина остановился на исключительно правильных формах своей сегодняшней конкурентки. Могучая грудь, прекрасный зад, отличный скаковой сустав, подумал он, и мысленно стал сравнивать ее с своим Лелем. Они вышли из конюшни.

— Считаю кобылицу самой опасной соперницей, — сказал Мравин, желая узнать мнение Пиггота.

— В каждой скачке, Игорь Константинович, каждая лошадь опасна. Посмотрим, как сложится скачка, — ответил жокей.

Своим уклончивым ответом, Пиггот не обнадеживал Мравина и он, пожелав ему успеха, направился в трибуны.

Подошла скачка на кубок. На зеленом поле призовой дорожки, строго по номерам, показались 12 скакунов. Внимание всех привлекала общая фаворитка Линда, идущая под номером 3. Она как бы чувствовала общее восхищение собой и грациозно танцевала на тонких, в белых бинтах, ногах, словно не знала какой прежде ступить: правой или левой. По атласу светло рыжей кожи быстро бежали хорошо развитые мышцы, покрытые мелкой сеткой разбухших жил. Она косила белками возбужденных глаз, и как на пружинах подбрасывала в седле сухое тело Парнэля. Под крики и аплодисменты публики лошади прошли перед трибунами и, огибая призовой круг, произвольно направились

к старту. Лель, идущий под номером 7, был невозмутимо спокоен, и безучастным взглядом разглядывал шумливую публику. Сзади послышались звуки сдержанного галопа, и Агит Любомирского, высоко подкидывая зад, пронесся мимо. Лель запружинил на задних ногах и рванулся вперед. Железные руки Пиггота остановили неразумный порыв лошади. Лель зло мотнул два раза головой, и перешел на тряскую рысь. Разобравшись по номерам, лошади подходили к старту. Тысячи глаз, биноклей были устремлены на разноцветную ленту жокеев, вот-вот готовых принять старт. Вверх взметнулась белая лента... Пошел!.. Лошади приняли старт. Линда с места заняла бровку и несколько оторвалась от лошадей, общей группой устремившихся в угол поворотной четверки. Лель, потеряв на старте первый поступательный момент, шел с большим просветом последним. Лошади прошли поворотную, и вывернули на противоположную прямую. Лель отпал еще дальше. Создавалось впечатление, что Пиггот, потерявший старт, отказался от выигрыша и решил не требовать от жеребца невозможного, боясь сломать спортивную карьеру лошади. Мравин тоже считал скачку проигранной. Линда легко вела скачку, но расстояние между ней и группой лошадей заметно уменьшалось, что уже обещало возможную борьбу у финиша. Прошли версту. Первым сделал бросок Агит Любомирского. Дуган держал лошадь в пяти корпусах от Линды. Полею, с последнего места, метеором неся Лель. Он легко догнал группу лошадей и занял 6-е место. Лицо Мравина засияло надеждой. Лошади ввалились в последнюю поворотную. Агит подтянулся к Линде и, идя в руках, держал-

ся в трех корпусах. Лошади вывернули на прямую финишевую. Пиггот сделал резкий бросок, но не рассчитал и сразу попал в коробку. Искусно маневрируя между лошадьми, он вышел на третье место и захватил Агита. Последний фурлонг, последний посыл. Лель на хвосте Линды... захватил... пол корпуса... шея... голова... Резкий звонок, второй... Кто? Кто выиграл?... Линда?... Лель?... Пиггот?... Парнэль?..

Фотография финиша присудила первый приз Лелю, выигравшему у Линды четверть головы. Новая волна криков пронеслась по трибунам. Администрация ипподрома увенчала Пиггота венком живых цветов, и вручила Мравину золотой кубок. Лель поставил новый рекорд. Пожав руку Пигготу, потрепав Леля по потной шее, Мравин легкой походкой прошел в цветочный магазин ипподрома, и купил для Наташи все бывшие в магазине пунцовые розы. Он чувствовал, что сейчас он представляет собой центр, на который устремлены все взоры. Он был честолюбив, в меру тщеславен, хотя и не признавался в этом открыто. С двух сторон стиснутый публикой, он с трудом пробирался в свою ложу, неся в одной руке кубок и в другой розы.

— Игорь Константинович, поздравляю, — слышался сзади женский голос.

Мравин обернулся и встретился с глазами Ванды. Она протянула ему руку, и ему ничего не оставалось как войти в ложу.

— Поздравляю! До последнего момента я была уверена, что выиграла моя Линда, но эта противная фотография отдала приз вашему Лелю. Не-

хорошо. Вы и ваш Лель обидели прелестную женщину, — капризно закончила она.

— Я очень опечален, графиня, что мой Лель обыграл вашу Линду. Я накажу его. Не дам сегодня овса. Но как спортсмен я рад своей победе, одно время казавшейся мне невозможной, — ответил Мравин, передавая Ванде розы и губами касаясь ее руки.

— Спасибо. Какие чудные цветы. Вы очень внимательны.

Краска радости засияла на ее лице, и словно застыдившись ее, она склонила голову к цветам. Но это продолжалось несколько секунд. Она откинула голову и пристально глядя в глаза Мравина, с той же милой улыбкой, спросила: — Компенсация за проигрыш?

— Если графиня не нашла большего в моих цветах.

— Не сердитесь, я пошутила. Я рада вашему выигрышу и вашим цветам. Но мы, женщины, не всегда проигрываем. Мы скоро встретимся в реванше, и я уверена, что выиграю его.

— В скачке, графиня, все возможно. Я буду рад дать вам реванш, — продолжая улыбаться ответил Мравин.

— Вы не совсем правильно меня поняли. Скачка тут не при чем. Я говорю о реванше . . . Ах, простите, вы не знакомы? Стась Щавинский . . . Мравин, Игорь Константинович.

Мравин холодно пожал руку красивого незнакомца, дольше положенного задержал на нем свой холодный взгляд, и почувствовал, как что-то новое завладело им. Он повернулся к Ванде и в ее

смеющихся глазах прочел подтверждение своим мыслям.

— Я чувствую, вы торопитесь к своим друзьям. Я понимаю вас, оправдываю. Не учтиво так долго заставлять ждать даму, но я на секунду задержу вас. Мне хочется выпить с вами за наш реванш. Можно? Ах, у нас только два бокала. Вы ничего не будете иметь против, если мой бокал, бокал реванша, мы поделим пополам?

— Буду рад, графиня, если вы не боитесь, что через искристое вино я прочту ваши мысли. Вам будет труднее выиграть.

— Я не допускаю мысли, что господин Мравин и на этот раз обидит очаровательную и незащищенную женщину, — обращаясь к Ванде и игнорируя Мравину, сказал Щавинский.

Мравину не понравилось замечание Щавинского, но он сдержался, и только окинул его своим стальным взглядом, говорившим значительно больше слов. Щавинский смутился.

— За реванш! — пристально глядя в глаза Мравина, чуть слышно сказала Ванда. Она коснулась нежными губами края бокала, отпила глоток и передала бокал Мравину.

— Вы сообщите мне день реванша, графиня? — выпив вино, весело спросил Мравин.

— Вы его знаете.

— Графиня как всегда говорит загадками. Вам это идет.

— Загадка для одного часто не является загадкой для другого. Но если вы так хотите знать, я могу сказать . . . 29 мая.

— Я перед вами непростительно виноват, графиня, что до сих пор не нашел возможным побла-

годарить вас за ваше приглашение и высказать сожаление, что не смогу разделить веселья вашего, кажется, белого бала. Неотложные дела требуют моего присутствия в Петербурге.

— Мне остается только надеяться, что господин Мравин изменит свое решение. Реванш может заставить подождать и Петербург, и неотложные дела, — с чуть саркастической улыбкой ответила Ванда.

— До скорой встречи, — сказала Ванда протягивая Мравину нежную руку.

— Где? В Петербурге?

— Нет, на балу.

Мравин поцеловал руку Ванде, холодно поклонился Щавинскому и направился в свою ложу.

* *

*

Мравин получил письмо от матери. Письмо было холодное, как их отношения последних лет с момента оставления им полка и его переселения в Польшу. Мать до сих пор не могла и не хотела простить сыну загубленной карьеры, как она считала, явившейся следствием его непослушания и необдуманных шагов. Властная женщина не хотела понять того, что ее сыну уже 30 лет, и что он сам отвечает за свои ошибки и поступки. В своем письме, без тени каких либо материнских чувств, она просила сына срочно выслать ей хранившиеся у него ценные бумаги, а также документы на имение и на большой доходный дом в столице. Она ни словом не обмолвилась, зачем и почему ей вдруг понадобились бумаги, не спрашивала советов сына, и тайной окутала те или иные свои планы. В

конце письма казенными бездушными словами звучало сухое материнское благословение, но не было приглашения навестить ее.

Письмо матери оставило у Мравина тяжелое впечатление. Он отложил письмо в сторону, потер лоб и задумался. Перед глазами побежали светлые, прекрасные дни детства, овевные заботой и любовью матери, а в мыслях воскресали все новые и новые случаи его недостаточного внимания, уважения и теплоты к матери. Он не был сентиментален, но ему вдруг захотелось близости матери, той близости, которую он испытал и любил только в детстве, и которую сейчас как-то неразумно потерял, потерял через свою гордость. Движимый каким-то предчувствием чего-то недоброго, что должно случиться с мамой, он решил отправить бумаги с Лукой. Он знал, что мама любит, уважает и ценит старика. Тщательно отобрав и проверив бумаги, он запечатал их в большой конверт, приложил по углам сургучные печати и позвал Луку.

— Завтра, с утренним поездом поедешь к маме, в имение. Передашь ей этот конверт и письмо. Я дам его тебе позже. Будь осторожен в дороге. Документы очень важные. Узнай, как мама? Здоровали? Не надо-ли чего? Долго не задерживайся. Ты знаешь, что ты всегда мне нужен. Понял?

— Не извольте беспокоиться. Все будет исполнено в аккурате, как сказали. И за бумаги не тревожьтесь. Барин покойный, как что, всегда меня посылал.

Уехал Лука, и Мравин досадовал на себя, что не поехал к матери сам. Какое-то подсознательное предчувствие не оставляло его. Прошла неде-

ля, и днем, 24-го мая, вернулся Лука. Мравин радостно встретил его.

— Ну, что, старик, как мама?

Лука ничего не ответил, безнадежно развел руками и затоптался на месте.

— Что ты молчишь? Что-нибудь случилось с мамой? Мама больна?

— Не то что больна, а только глаз плохой.

— Какой глаз? Говори толком, что случилось?

— Ничего не случилось, барин. Только глаз барыни смотрит так, ровно с жизнью прощается.

— Ничего не понимаю.

— Оно никто не понимает, потому никто не знает, когда наступит час его ухода. Только глаз знает.

— А ты вот что, старик. Садись сюда и рассказывай все с начала, как приехал.

— Как приказывали, на поезде приехал. Вышел на станции из вагона, а меня пароконный экипаж ожидает. Барыня выслала по вашей телеграмме. Ну и поехал я с кучером Никиткой. Помните его, чернявый такой. А кругом, барин, все родное. Вот, хоть взять трава. Каждый год новая, а ведь неправда, все та же наша, мравинская трава: зеленая, сочная, духовитая. Березка узнала, листиками зашуршала, поздоровалась. Свернули налево, у поворота ольха. Помните ее? Выросла теперь, серьезная стала, ровно, как не узнала меня. А я ей — Эх, ольха, ольхушенька, Луку не признала... Поклонилась. Кони добрые, шесть верст разом отмахали. Полным ходом въехали в ворота, а барыня со ступенек сошли и прямо ко мне идут. Ну, я картуз снял, низко поклонился, молчу. Не след первому говорить.

— Здравствуй, Лука! Приехал! — сказала, а сама ровно радостью засветилась. Только понял я, что радость-то эта через вас. Комнату лучшую отвела, в барском доме. — Ты, — говорит, — помойся, Лука, с дороги, да завтракать приходи ко мне в комнату. — Помылся я. Эх, вода у нас мягкая, барин. Конверт захватил и к барыне пришел. А они на кровати лежат, а кругом шклянки с лекарствами. Дух тяжелый в комнате.

— Мама серьезно больна? Ты узнал, что с ней?

— А разве у них узнаешь. Гордая, не скажет. Ну, сели за стол. Меня, как родного, потчует а сама, как рожденный цыпленок ест. Все про вас справляется как, да что . . . Потом встанет, пошуршит приказаниями, сами знаете барыню, да опять ляжет. А меня не отпускает.

— А доктор был при тебе? Что он говорит?

— Был, лохматый такой, в очках. А что доктор? Что он знает? Мне так сдается, что главный доктор, — это вы. Взяли бы, да поехали навестить мамашу. А радость-то какая. Сын приехал. А трава, березка, ольха как рады будут барина своего увидеть.

— Хорошо, иди, отдыхай с дороги, — упавшим голосом сказал Мравин и зашагал по комнате.

Лука поднялся и направился к двери. Как будто вспомнив что-то он повернулся и посмотрел на Мравина.

— Ну, что еще?

— Помните, барин, вы бранили меня намедни, что фрак оставил в Петербурге. Так от матушки вашей я проехал на нашу квартиру, в столице. Ежели фрак понадобится, он здесь, в имении.

Новости, привезенные Лукой, огорчили Мравина, и он решил 28 мая, как обещал, навестить Боргов, а от них, южным экспрессом, проехать в имение к матери.

* *

*

Подошел день бала. Высокий двор с утра жил нервной жизнью. Всюду суетилась многочисленная прислуга. В зале и в беседке накрывались столы слышался специфический звук расставляемой посуды, звон серебра. На хорах репетировал прибывший из Варшавы струнный оркестр. Механики с завода устанавливали в саду и в беседке сложную цепь электрических лампочек и световых эффектов. Желая услужить Ванде, больше всех суетился Щавинский. Он всем распоряжался, и под его энергичным руководством все куда-то спешили, что-то делали, и постепенно главный зал, сад, и беседка принимали торжественный и нарядный вид.

И только Ванда была в какой то тревожной озабоченности. Она провела бессонную ночь. Что тревожило ее? Мысль, что Мравин может не приехать. Как только эта мысль овладевала ею, она чувствовала невероятную усталость, и все казалось ей ненужным, лишним и глупым. Ее раздражал оркестр, беготня прислуги и больше всех, совершенно беспричинно, Щавинский. Желая остаться одна, она пошла в охотничий домик.

— Графиня, все идет превосходно, — воскликнул догнавший ее Стась. — Я задал всем такого африканского жару, что вы можете быть совершенно спокойны. Бал будет на славу. О нем будет го-

ворить вся именитая Варшава.

— Я ценю вашу помощь, Стась. Не знаю, что бы я делала без вас, — стараясь быть любезной, ответила Ванда.

— Для Стася Щавинского нет ничего невозможного. Любое ваше желание, любая прихоть, каприз, сжигают меня. Я весь...

Ванда не дала Щавинскому договорить. Она взглядом остановила его, и с чуть заметной усталоккетливой улыбкой ответила: — Только не сгорите до бала.

— Как можно. Я весь радостно отдаюсь в ваше распоряжение.

— А я, кажется, уже сгорела. Чувствую себя невероятно усталой. Мне нужно отдохнуть. Я покидаю вас. Когда увидите Аленю, скажите ей, чтобы меня никто не беспокоил.

— Графиня чувствует себя нездоровой?

— Нет, не то... совсем не то...

— Могу я узнать причину вашего плохого настроения?

— Пока нет. Считайте это капризом женщины. До скорого свиданья.

Щавинский смотрел вслед удаляющейся Ванде, пока она не скрылась в тенистой аллее. Он некоторое время постоял в раздумье, стараясь разгадать причину ее тревожного состояния и потухших, отсутствующих глаз. Причины он не разгадал.

Остаток дня Ванда провела в охотничьем домике. Она застала в нем Аленю, но отказалась от ее услуг и отпустила ее.

— Я никогда не думала, что неизвестность так жестока, — подумала она, опускаясь в кресло. Со-

мнения бессонной ночи то овладевали ею, и она казалась себе жалкой, потерянной, приниженной, то исчезали, и она чувствовала в себе прилив радостной энергии, чему то улыбалась, старательно расставляла по комнате принесенные Игнатом цветы, переставляла статуэтки, поправляла картины, портьеры и вся светилась ясной, несомненной радостью. Она знала, что Игорь придет. Она уже чувствовала его. И это сознание уносило ее сомнения и наполняло душу ясностью и светом. Усталая и радостная, она легла на кровать и закрыла глаза. «Неважно, что он не любит меня... Я люблю его». Крепкий сон объял ее... Ее разбудила Аленья.

— Барыня, простите, что потревожила ваш сон. Уже шесть часов.

— Шесть? Не может быть. Боже! как я крепко спала. Что я видела во сне? Да, да, Аленья, я приму ванную, а вы принесите мне чашку черного кофе. Крепкого и горячего. Сахару не надо.

Ванда сидела перед зеркалом и укладывала свои пышные волосы. Она всегда причесывалась сама, но сегодня все было не так, и все было не по ней. Капризничал локон с левой стороны, и никак не удавался жгут стянутых сзади волос, открывавший красивую линию шеи. Аленья уже третий раз вплетала в уложенные волосы тонкую гирлянду голубых незабудок. Ванда нервничала и изводила ее капризами и придирками. Горничная никак не могла понять причины нервности своей госпожи. Это было так не свойственно ей. Наконец, к радости Алени, с волосами было закончено. Ванда чуть откинула голову назад и посмотрела в зеркало. Холодное стекло отразило довольную улыбку.

ку. Она достала ящичек с драгоценностями. Надела на шею тонкую нитку розового жемчуга. Сделала гримасу, сняла. Приложила к шее кольцо мелких рубинов и отложила их в сторону. Она остановилась на нитке мелких алмазов. Маленькие бриллианты украсили нежные мочки ушей. Оставалось надеть платье. Аленья давно стояла перед Вандой, держа в руках белую пену платья, затканного мелкими, с булавочную головку, редкими блестками. Ванда ближе подошла к зеркалу.

— Боже! Какая я бледная. Что со мной? Я бледная, Аленья?

— Нет, барыня. Вам это показалось. Вы сегодня необыкновенно красивы. Никто не может сравняться с вами. Жаль, барина нет.

Ванда на мгновение о чем-то задумалась. Она быстро повернулась, подошла к горничной и наклонила голову. Аленья надела на нее платье, застегнула сзади несколько мелких кнопок, опустилась на колени и быстрыми руками старательно расправляла пенящиеся волны складок. Платье обняло тело Ванды. Большой вырез красиво обрисовывал ее прелестную молодую грудь, шею, спину. Ванда последний раз посмотрела на себя в зеркало.

— Спасибо, Аленья. Вы приберите весь этот беспорядок. Хорошо приберите. Когда сами оденетесь, принесите мне сверху маленькую накидку голубых песцов. Ночью может быть свежо.

Ванда вышла из охотничьего домика. Лениво умирали розоватые сумерки позднего вечера. Отгорели последние лучи вечерней зари. Далекие холмы волнами темно-синих линий закрыли горизонт. На озеро легла холодная тень. Вдали множе-

ством белых огней горели колонны беседки. Ванда шла медленно и испытывала радость легкости своих мыслей и своего тела. Волновавшая ее тяжесть сомнений куда-то ушла, ее место заняла уверенность в себе. Она легко вбежала на ступеньки беседки и встретила с пристальным взглядом Щавинского. Он ждал ее. Взгляд его глаз отразил восхищение.

— Ванда, вы божественно прекрасны, — восторженно воскликнул он.

— Вы находите? Спасибо, — с улыбкой ответила она, делая глубокий реверанс.

— Комплимент за комплимент. Вам очень идет фрак. Как все красиво, нарядно, празднично, — сказала она, окидывая взором богато накрытый в беседке праздничный стол.

— А теперь «божественно прекрасная» должна идти в зал. До приезда гостей мне надо разложить карточки. Ну, знаете, кто с кем сидит.

— Разрешите сделать это мне. Я знаю всех приглашенных.

— Я боюсь, вы можете ошибиться, — с лукавой улыбкой ответила Ванда.

Она достала из серебряной сумочки пачку изящных карточек и быстро направилась в дом. Щавинский шел за ней. Они вошли в зал. Ванда на секунду остановилась. В глазах отразился восторг. Все было так, как она хотела. Серебряные тифельки, показываясь из под белой пены платья, быстро побежали по блестящему паркету. Она остановилась у крайнего стола справа.

— Янина Булинская и Пьер Ральф. Молоды, красивы, влюблены друг в друга.

— Княжна Гогенлоэ и Пратт. Немного заносчива, капризна, но прекрасна своей молодостью. Девятнадцать лет. Боже, какая я старуха. Мне двадцать девять.

— Альбина Любомирская и барон Вольф. Ну, где же он? Нашла, нашла. Устраиваю этот tête-à-tête по просьбе Альбины, но думаю, что из него ничего не выйдет. В жилах барона течет разжиженная немецкая кровь.

Ванда быстро раскладывала карточки, называла фамилии, на ходу бросила — «это мой стол» — и быстро направилась к последнему столу слева.

— Ядвига Желтовская и . . . Она остановилась, смеющимися глазами посмотрела на Щавинского и подчеркнуто торжественно добавила: « . . . Стась Щавинский. Советую обратить внимание. Я уже говорила Ядвиге о вас. Говорила только хорошее, хотя считаю, что хороших мужчин нет. Они все с каким-нибудь изъяном», весело закончила она, переходя к следующему столу. Щавинский старался скрыть досаду, но мускулы шрама левой щеки нервно забегали, и серые глаза отразили гневное удивление.

— Я не допускаю мысли, что графиня лишит меня счастья . . .

— И правильно делаете. Я еще сама ничего не знаю. Может быть я буду с вами и с Ядвигой, может быть . . .

Она не договорила фразы. Ее прямым вопросом закончил Щавинский.

— Может быть с господином Мравиным?

— Возможно. Ничего не знаю. Его приезд до сих пор под большим сомнением. А теперь пойдемте в беседку. Скоро должны съезжаться гости.

Гости, окрестные помещики, не заставили себя долго ждать и съезжались как-то особенно дружно. С разных сторон, через небольшие промежутки времени, подъезжали новые экипажи, и скоро зеленая лужайка, отделявшая беседку от озера, украсилась белыми коломбинами и стильными черными арлекинами. Все дамы казались похожими друг на друга, как две капли молока, мужчины — как две капли чернил. Но это было внешнее сходство. Каждый имел свое сердце, свой ум, душу и по разному отражал радость, печаль, смех, восторг, порыв . . .

Ванда была в прекрасном настроении, весело смеялась, шутила, тонким кокетством отвечала на восхищения мужчин и комплименты женщин. Гости с бокалами вина сидели в белых плетенных креслах. Кругом лился свободный и веселый разговор. Говорили о женщине и мужчине, спорили о музыке и поэзии, и в малейших оттенках фразы скрывался век изящества, рыцарства, развития и культуры. Новую струю молодости и веселья привезли с собой Булинская и Ральф. Все ждали Альбину Любомирскую и Вольфа. Ванда ждала Мравина. Она вдруг почувствовала, что ее снова захлестнула волна сомнений. Беспокойный взгляд все чаще и чаще впивался в чернеющую даль дороги. Послышался конский топот. «Приехал», мелькнуло в мозгу. Радостью загорелись глаза. Ванда извинилась и быстро направилась к коляске, запряженной парой серых лошадей. Она шла, опустив голову, и улыбалась частому биению своего сердца. Из коляски выпорхнула пушистая белая маркиза.

— Здравствуйте, милая Ванда. Ради Бога простите за опоздание, но разве с бароном можно не опоздать?

— Каюсь и приношу свои извинения, графиня, — целуя руку Ванды, сказал Вольф. — Перед самым отъездом к очаровательной Альбине приехал сосед помещик и задержал меня.

Он посмотрел на часы и с улыбкой добавил:

— Хочу верить, что вы не будете гневаться за полчаса опоздания. В сражении с жизнью, полчаса — это ничтожный миг.

— Не прощайте, милая Ванда. Не прощайте. Полчаса — это полчаса. Они ушли и никогда не вернутся. Это во-первых, а во-вторых, вы заставили всех ждать нас. Наверное уже все съехались?

— Да, все. — ответила Ванда. Ей так хотелось произнести эти два слова неправды, и она мучительно почувствовала в них правду. Сомнения ушли. Время отняло последнюю надежду. Солгала мечта, в сердце увяли цветы ожидания. Они подходили к гостям. В разноголосом шуме приветствий Альбины и Вольфа Ванда немного овладела собой. Она ясно поняла, что ничего изменить нельзя, что комедию надо играть до конца.

— Господа, прошу всех к столу, — весело, с улыбкой сказала она.

Все перешли в беседку и обступили нарядный, богато накрытый «à la fourchette» стол. Со всех сторон слышались восторги и восхищения. Вступительный аккорд «белого бала» зазвучал молодостью, весельем, смехом. Всех смешил Щавинский. Он весело и изящно шутил, рассказывал небылицы про Африку и искусно поддерживал нить бурных раскатов здорового смеха. Рассказывал он

хорошо, красочно, сочно. Он только что закончил эпизод своего посещения вождя какого-то дикого племени, причем конец рассказа был так неожидан, что вызвал невероятный шум одобрения. Все хохотали, шумели. Нежные руки с бокалами тянулись к Щавинскому.

Ванда резко повернулась. Горящий ожиданием взгляд устремился в даль. Где то мгновением прозвучал конский топот. Из высокой ржи выбежала тройка вороных. Ближе... ближе... остановилась.

Ванда сбегала со ступенек беседки. Ее догнал Щавинский.

— Вернитесь к гостям, Стась. Сейчас вы мне не нужны, — холодно сказала она.

Навстречу ей медленно шел Мравин. Ванда протянула ему обе руки. Он поцеловал одну, другую.

— Тысячу извинений, графиня, за поздний приезд, — с заметным волнением в голосе сказал Мравин, смотря в горящие блеском глаза Ванды.

— Мое решение быть с вами овладело мной в последнюю минуту.

— Мне особенно дорога эта опоздавшая минута. Мне кажется, что я полюбила ее, — просто ответила Ванда, и губы обоих чуть заметно засмеялись радостной улыбкой.

— Пойдемте, я вас познакомлю с моими друзьями. Вы говорите по польски?

— Настолько плохо, что вынужден буду или прибегать к вашей помощи или пользоваться французским языком.

— Отлично, выход найден. Я думаю, все присутствующие говорят по французски.

Мравин произвел на всех присутствующих приятное впечатление. Он быстро освоился среди незнакомых ему людей, правильно определил сущность каждого, в нескольких фразах деликатно показал свой ум, в молчании, когда надо было молчать, свой такт, блеснул светскими манерами. Ванда зацветала, Мравин терял голову, Щавинский закипал ревностью.

Окончив закуски, гости, подогретые хорошим вином, веселые и шумливые, пересекли зеленую лужайку, отделявшую беседку от дома, и вошли в полумрак большого двухсветного зала. В глубине, во всю длину задней стены, на одинаковом расстоянии один от другого, стояли четырнадцать столов, красиво сервированных, каждый для двух. В промежутках между столами, как монументы, в черных с серебром ливреях и в белых чулках стояли семь лакеев. Стол Ванды и Мравина был выдвинут немного вперед. Кругом горели разноцветные огни живых цветов и сверкали блестящие фамильного серебра и хрусталя. Беспокойно веселые огоньки маленьких лампочек, прикрытых абажурами цветного шелка, дополняли интимный уют каждого стола. Столы украсились гирляндой белых платьев дам и черных фраков мужчин. С хоров послышались смутные звуки скрипок, начавших чуть слышную мелодию. Вдруг они как бы нашли свой верный строй, заплакали, пьянили нежным шопотом струн и подчиняли все чувства своей колдовской власти. Каждый стол, томимый зыбкой лаской музыки, начал жить случайной сказкой своей жизни. Всюду слышался веселый смех, шум, и в складках изящного разговора скрывались тонкие кружева мысли, желания недоска-

занных слов, загадочные улыбки, утонченные насмешки, притворное кокетство, скрывалась правда и ложь.

Мравин не спускал с Ванды восхищенного взгляда. Она была сказочно прекрасна в легком, как пена, белом платье, открывавшем матово-розовый мрамор ее красивых плеч, груди и рук. Он пристально смотрел на нее, старался разгадать совершенно непонятную ему в ней перемену. Он впервые видел ее какой-то новой, обольстительно зовущей, не такой, какая она была до сих пор в его мыслях. Каждый раз, когда она обращалась к нему, он видел неожиданно вспыхивающий блеск ее прекрасных глаз и отражение счастья в улыбке ее полуоткрытых губ. Минутами его охватывал туман какого-то запретного экстаза. Что было поводом к нему? Он не знал, но он находил ему оправдание в случайно пойманном взгляде, в красивой тайне брошенной фразы, в дрожащих ресницах ее возбужденных глаз. Ванда смотрела на Мравина и пьянела возбуждаемым ею восхищением. Никогда раньше она не любила себя так, как сейчас. Она не искала оправдания своим мыслям, желаниям, словам. Она их любила, любила всей полнотой своей пылкой натуры, и каждый новый взгляд ее как бы говорил: «Я счастлива. Я так люблю это маленькое счастье».

Она коснулась нежной рукой темно-пунцовой розы, и вдруг все лепестки ее облетели и пятнами крови рассыпались по белой скатерти. Ванда подняла на Мравина испуганно-вопрошающий взгляд. Он улыбнулся уголками губ.

— О чем вы думаете, Игорь? Думаете сейчас? Мне кажется, что я думаю сейчас вместе с вами,

— чуть слышно спросила Ванда, и в ее голосе слышалась тревога.

— Об ошибках жизни... о миге счастья... о вас.

— Красивый туман, а я хочу яркого солнца вашей мысли.

— Боюсь, что не сумею выразить свои мысли моими собственными словами. Чужими легче. Мысль неожиданная, большая.

— Ну, говорите. Я жду.

Мравин посмотрел на Ванду долгим взглядом. Прочитав в нем нерешительность, сомнение, она с капризной улыбкой спросила: «Ну, что же вы молчите? Я хочу, хочу знать ваши мысли».

«Чертог сиял... Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир,
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла мир».

Мравин остановился. Ванда осветила его блеском своих голубых глаз.

— Пушкин... Красиво, необъятно красиво.

— Графиня хорошо знает русскую поэзию.

— Я почти русская. Родилась, училась, воспитывалась в России. По-моему, Пушкин — это Россия. А почему вы на мой вопрос ответили именно этими стихами?

— Почувствовал в вас частицу Клеопатры.

— Только частицу?

Мравин замедлил ответ, опустил голову, и его слуха коснулась последняя строфа стихов.

«Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю.

Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?»

Мравин поднял голову и встретился с смеющимися глазами Ванды.

— Ну, какая же я Клеопатра? Мне кажется, что сегодня я раба.

— Владеть сердцами, возбуждать пламень восхищенья, будить желанья едва-ли может быть доступно рабыне.

— Вы преувеличиваете, Игорьь.

— Я это заметил еще в беседке. Правда, я не нашел там Флавия и Критона, но особенно сильно почувствовал поклонение вашим чарам в плотоядных, волчьих глазах господина Щавинского.

— Это вам показалось, — прищутив глаза, возразила Ванда, пьянея сознанием ревности Игоря.

— Мне редко что кажется, графиня. Это скорее удел женщин, — ответил Мравин. Он на минутку задумался и жестко добавил: — Есть люди, которых с момента знакомства хочется ударить . . . ударить по лицу.

— Но вы очень мало знаете господина Щавинского.

— Вполне достаточно, чтобы определить его внутреннюю сущность.

— Он красив, умен, светски воспитан . . .

— И непорядочен. Впрочем, вам лучше знать, графиня. О людях бывают часто самые разноречивые мнения. Это зависит от того, как и под каким углом смотреть на их недостатки и пороки. Вы не находите, что мы слишком много внимания уделяем господину Щавинскому и уклонились от более интересной темы нашего разговора?

— О Клеопатре и Флавии? Нахожу. Итак вернемся к ошибкам жизни и к мигу счастья. Скажите, Игорь, а вы не могли бы быть Флавием?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, надо знать, кто будет Клеопатрой?

— Но вы же почувствовали во мне Клеопатру?

— Я сказал, частицу Клеопатры.

На хорах слышались отчетливые звуки скрипок оркестра, отыгравшего вступление к полонезу. Зал осветился огнями трех люстр. Как отражения несбыточных миражей, зазвучали первые аккорды полонеза. Бело-черные пары, грациозно приседая в ритм музыки на левую и правую ногу, двинулись со своих мест к центру зала, выравнились в тонкую линию, попарно разошлись, снова встретились в замысловатых фигурах танца. В первой паре, гордо подняв голову, плыла Ванда с Мравиным. Кончился полонез. Оркестр заиграл венский вальс.

— Наш первый вальс, — сказала Ванда, и странный блеск зажегся в ее мечтательных глазах. Мравин обнял тонкую талию Ванды, она положила левую руку на его плечо, и маленькие ножки в серебряных туфельках заскользили по блестящим ромбам паркета.

— Вы хорошо танцуете, Игорь. С вами так удобно, — сказала Ванда, приближая свое лицо к лицу Мравина. Он почувствовал ее теплое дыхание, улыбнулся на ее похвалу и ближе привлек ее к себе. Она чуть откинула назад голову, и по вздрагивающим ресницам ее полузакрытых глаз он почувствовал охватившую ее радость. Она передалась ему, и две радости слились в одну. Кругом, как заводные игрушки, кружились пары, но в полете своего счастья они не замечали их. Ща-

винский танцевал с Желтовской. Через ее плечо он зорко следил за Вандой и видел, как каждый раз, когда Мравин говорил ей что-то, она светилась улыбкой счастья и не делала над собой никакого усилия, чтобы скрыть ее от окружающих. Безотчетная ревность заливала его сердце.

Кончился вальс. Ванда и Мравин подошли к своему столу. Щавинский искусно лавируя между танцующими парами, круто повернул свою даму направо и мгновенно очутился около Ванды и Мравина.

— Графиня, меня сжигает африканская ревность, и если вы не хотите, чтобы я воспламенился, следующий танец со мной, — с веселой улыбкой воскликнул Щавинский.

— К сожалению, Стась, за разрешением вам придется обратиться к Игорю Константиновичу, — с лукавой улыбкой ответила Ванда, восхищенная своей неожиданной находчивостью.

— Почему к господину Мравину?

— Во время ужина, перед танцами, так случилось, мы держали пари, и господин Мравин выиграл его. Мой невинный проигрыш — все танцы сегодняшнего бала.

— Но именно сегодня вы должны принадлежать всем, и я полагаю, что господин Мравин хотя бы частично откажется от своего выигрыша.

— Я — спортсмен, и своего выигрыша не собираюсь делить ни с кем, — твердо сказал Мравин, смотря не на Щавинского, а на Ванду. Он перевел глаза на Желтовскую и, совершенно игнорируя Щавинского, тепло добавил: «Хочу верить, что мадмуазель Желтовская простит меня и не лишит счастья танцевать с ней на следующем балу».

— Я поступила бы так же, и вы много потеряли бы в моих глазах, если бы уступили хоть один танец, — ответила Ядвига, тонко подчеркивая не тактичность Щавинского. Оркестр заиграл польку. Щавинский молча склонил голову перед Желтовской. Ванда радостно взяла под руку Мравина, и пары закружились в быстром темпе танца.

Кончился ужин. Гости перешли в сад подышать ночной прохладой. Старый парк зажегся розовыми, синими, желтыми, палевыми огоньками. Душистое дыхание ветерка грациозно покачивало их между ветвями деревьев, и они, как тонкие спирали, колеблясь, отражались в спокойной воде озера. Тихая ночь до горизонта развернула синюю парчу неба, вытканную мерцающим серебром далеких звезд. Полная луна сиянием бледного бархата одела столетние липы, березы, траву, статуи, скамейки. Загадочная прелесть ночи и красота природы слились в одно целое, огромное и прекрасное. Куда-то далеко ушла действительность жизни, и мысли всех радостно обнимали волшебную сказку. Беспечная, свободная, живая сказка любви подчиняла всех своей могучей власти. Послушные ее зову, пары скрывались в тени аллей, прятались от любопытных глаз и в сладкой истоме пили яд прекрасного сна жизни.

Послышался резкий звук выстрела, и в воздухе взвилась первая светящаяся ракета. Она рассыпалась множеством цветных звездочек в синей выси неба. За озером начали жечь фейерверк. Ванда взяла Мравина под руку. Они обогнули клумбу цветов и вошли под своды тенистой аллеи. Листья огромных кленов смыкалась в вышине в сказочный шатер, пьянила своим тихим благоуха-

нием. Они шли, молча, оба переполненные сознанием ненужности слов. В отверстия листы на них смотрели далеких звезд огни и звали к неизбежному. Ванда, влекомая каким-то безрассудным порывом, вдруг остановилась, повернулась к Игорю и, закинув руки ему на шею, вся прильнула к нему. Алые губы сомкнулись в долгом поцелуе.

— Моя Клеопатра! — восторженно воскликнул Мравин.

— Мой милый Флавий! Я хочу, чтобы через полчаса вы уехали домой, — с загадочной улыбкой промолвила Ванда.

— Я не совсем понимаю значение ваших слов, графиня. Чем вызвано ваше такое странное — желание?

— Боже! Как недогадливы, не чутки мужчины. Ты вернешься через три часа. Мы будем одни. Гости разъедутся. Я сделаю так.

— Ванда! Моя жизнь! Мое счастье! Я люблю тебя, — торопливо повторял Мравин, привлекая к себе Ванду.

— Подожди, милый. Я должна все объяснить тебе. Идем... Идем... Ты приедешь верхом. Вот охотничий домик. Видишь, вьется тропинка? Она ведет к калитке. Там привяжешь лошадь. Дверь открыта. Если меня не будет, подожди. Я приду.

Мравин привлек Ванду к себе. Его губы частыми поцелуями осыпали ее лицо, шею, глаза.

— Подожди... пойдем. Я не хочу давать повод для лишних подозрений и догадок. Наше отсутствие могут заметить. Пойдем, пойдем.

Они бежали по аллее, и Ванда прерывающимся голосом говорила: — Я сама всем объясню причину

твоего внезапного отъезда. Что-нибудь придумаю... Милый... Мой...

В воздух взлетела последняя ракета. Цветные огненные хризантемы долго держались на фоне спокойного неба. Потухли. С балкона послышался призывный звук трубы. Со всех сторон потянулись гости, обступили Ванду и Мравина. Кругом слышались восторги, восхищения.

— Мои милые друзья, я должна вас огорчить. Нас покидает господин Мравин. Он с утренним поездом уезжает в Петербург. Я использовала все свои чары, но они оказались недостаточными.

Все обступили Мравина, упрасывая его остаться, но он развел руками и с чарующей улыбкой сказал: — Не могу нарушить данное слово.

Остаток вечера Ванда была необычайно весела, много смеялась и танцевала.



Под звуки утомленной музыки угасал шум веселья. Исчез порядок тщательно накрытых столов. В голубом тумане последних сигар, склонив свои разноцветные головки в бокалы недопитого вина, медленно умирали небрежно брошенные цветы. С террасы в усталый зал вливалась вечерняя прохлада ночи. На плечи дам накинуты меха. Последние улыбки, последние слова, дрожание ресниц и взгляды, полные таинственных намеков. Разъезжались гости. Гасли огни. Утомленная прислуга радостно разбрелась по своим местам. Пир кончился. В саду все залито луной, и тихо дремали деревья, одетые сиянием бледного бархата. Ночь волшебной тишиной обняла имение «Высо-

кий Двор». Ванда и Щавинский проводили последних гостей.

— Спасибо, Стась, — сказала Ванда, протягивая Щавинскому обе руки. — Вы были выше похвалы. Ваше остроумие, веселость и даже необоснованная ревность были ценным украшением сегодняшнего бала. Спасибо, — закончила она, освобождая от поцелуев Щавинского свои руки. — А теперь... Спать!... Спать!... Спать!...

Она резко повернулась и стала подыматься в свою комнату. Щавинский сделал два шага и остановился. Момент, он схватил бы Ванду и унес в свою комнату. Его остановил разум. На этот раз он разуму подчинил безумие своего желания и свою страсть. Он прошел в свою комнату и, не зажигая огня, долго ходил в темноте. А за ним, по ковру лунного света, падавшего в открытое окно, ходили его мысли. В своем пышном цветении они властно стремились ввысь, казались ясными, звали к совершению неизбежного, то стелились ползучей неясностью мешавших ему сомнений. Сомнений в — «можно или нельзя». Он несколько раз останавливался посреди комнаты, сжимал руками голову, как бы стараясь ослабить пружины уставшего мозга, мучившего его все теми же сомнениями. Он искал примирения холодного разума с охватившей его страстью. — «Нет... Надо бежать. Завтра утром, не сказав ни слова, бежать. Бежать к дикарям, в Африку».

Он остановился у окна и жадно вдыхал прохладу свежего воздуха. Воздух пьянил его тем же ядом желания, от которого он не мог и не хотел освободиться. С момента встречи с Вандой он был отравлен этим ядом. Он боролся с ним, старался

подчинить его ослабевшей воле, но сегодня яд сжег его мозг, и он понимал, что уже нет силы, могущей его остановить. Он, как хищник, ждал своего момента. Он долго смотрел в голубую тишь ночи. Вдруг, словно придя к какому то решению, он резко повернулся, распахнул дверь и вышел в сад. Он медленно шел по влажному ковру травы и весь томился преступным желанием.

— Что это?.. Любовь?, — тихо спросил он ночь. Ночь бесстрастно глядела на него, и только в выси неба мерцающие звездочки что-то отвечали ему. Он не слышал их ответа. Они были так далеко, и их было так много.

— Не знаю... Не знаю. Но мне достаточно одного сознания, что это так.

— Что так? — спросил он самого себя.

— Пусть страсть... Я знаю, она не долго длится... Но голод страсти утолен и дух спокоен только тогда, когда ты овладеешь желанным, возьмешь тело. Пусть грубо, как животное, но завладеешь им...

В аллее тополей мелькнул чей-то белый силуэт. Он остановился, оглянулся по сторонам и, словно испугавшись чего-то, побежал в чернеющую глубь аллеи. Щавинский прижался к дереву. Сомнений не было. Ванда шла в охотничий домик. Хищник съежился и приготовился к прыжку. Но инстинкт хищника сказал, что добычу надо встретить лицом к лицу у охотничьего домика. Щавинский выбежал за ворота. Он бежал узкой тропинкой у забора. Вдаль, к горизонту, уходили поля хлебов. Они шелестели, и их тихий шопот успокаивал его. Он спускался в низину и постепенно тонул в мокрой от упавшей росы высокой траве. Она приятно хо-

лодила его руки, ласкала разгоряченное лицо. На мгновение он остановился, поднял голову и радостно обнял траву. В глазах заблестели искры счастья. Он понял, что идет к ней...

— Вот, живая изгородь... Слева малинник. Сейчас поворот направо, крутой спуск. Калитка! Охотничий домик! Ванда!

Он прибавил ходу, почти бежал, руками отстраняя густую траву. Трава редела. Он выбежал к калитке. Испуганная неожиданным шорохом, на него в упор смотрела привязанная к калитке лошадь. В правом углу темно-малинового чепрака золотом сияла буква «М».

— Мравин, — прошипел Щавинский. Лицо искалось страшной гримасой. Злоба стиснула сердце. Кровь отлила от головы. Мгновение мозг оставался пустым. Но это было только мгновение. Волны мыслей нахлынули со всех сторон. Они путались, обгоняли друг друга, куда то уходили, снова возвращались и в своем кипении требовали от него решения, определенного и немедленного. Хищный зверь ревностью зарычал в Щавинском. Он рванулся вперед, резко открыл калитку и стал спускаться по извилистой тропинке. Вдали, освещенный луной, мелькнул охотничий домик. Тихо заржала лошадь. Щавинский остановился. С минуты он стоял в глубоком раздумьи. Он был бледен, тяжело дышал. Волчьи глаза, серые и жесткие, горели искрами злобной мести. Губы искривились сарказмом ядовитой улыбки. Он вернулся к лошади. Ахилл, издалека приняв его за хозяина, тихо заржал. Щавинский потрепал лошадь по шее и медленно пошел домой. Придя в комнату, он, не торопясь, разделся, умылся и, чувствуя свое

здоровое тело, лег в кровать. Казалось, мысли, только что волновавшие его, куда то испарились. Как будто их не было. Осталась одна, ясная и законченная. Он улыбнулся ей уголками губ и быстро заснул крепким, здоровым сном.



Мравин осторожно вошел в охотничий домик. В передней его встретил огромный белый медведь с оскаленной и, как ему показалось, смеющейся пастью и с поднятыми вверх лапами. В одной он держал небольшой желтый факел, тускло освещавший комнату, когти другой держали серую с желтыми розами шляпу Ванды, ту, в которой она была на скачках. Мравин улыбнулся медведю, сделал три шага и вошел в гостиную. Комната дышала тишиной пряного волшебного аромата цветов. Подчеркивая их недолгую красоту, с закрытого рояля нежно струила розовый свет низкая лампочка. Мравин опустил в мягкое кресло, спокойным взором обвел комнату и подсознательно улыбнулся цветам, статуэткам и маленькому овальному портрету Ванды на низеньком столике. Справа, по ковру, откуда-то издалека, проникал луч блекло синего цвета.

— В а н д а ! — шопотом сказал Мравин.

Ему таинственно размеренным — «тик-так» — ответили незримые часы. И снова торжествующая тишина истомой неизвестности поглотила комнату. Синий свет — желанный и загадочный — звал его к себе. Он встал, вошел в столовую и остановился у квадратной арки, ведущей в спальню.

У подножья Мадонны спокойным синим светом горела большая лампада, мягкой просинью обнимавшая стены голубой комнаты. Мравин повернул голову и встретился с лучистыми глазами Ванды, в упор смотревшими на него из серебряной рамки большого портрета.

— В а н д а ! — громко воскликнул он, протянув вперед руки, и только тогда понял, что это портрет. Потрясающая экспрессия, сочность и правдивость красок делали портрет живым. Черный бархат открытого платья подчеркивал бледную нежность ее шеи, плечь, груди и тайной красотой обнимал ее тело. Исчерна пунцовая роза, как раз у выреза на груди, дышала истомой загадочности, и к ней, с алмазного ожерелья, как капелька росы, спускалась маленькая слезинка. С чуть приподнятой правой руки безжизненно свисали длинные белые перчатки. И все это в беспредельной гармонии было связано с ее устремленным вперед взором и с поступательным движением правой ноги. Она шла к нему, шла своими мыслями, со своим чувством, со своим счастьем. Он стоял, как околдованный, с полным сознанием того, что она вот-вот сойдет к нему со ступенек.

— Что это? .. Сон? .. Все те же синие зовущие глаза ... Чистота или порок? .. Сказка или быль? .. Страсть или любовь? .. Моя нежная! Моя неразгаданная Ванда!

Кто-то сзади трепетно холодными руками прикрыл ему глаза. Он резко повернулся. Перед ним, вся в белом, стояла Ванда. Она вся светилась безгранной чистотой. Несколько секунд открыли ему ее в такой чистоте, что он восхищенно смотрел на нее и боялся коснуться красоты, ее чистоты. В ее

глазах, сквозь две крупные слезинки, горел свет желания, но в хрустальной яркости его светилась другая, большая мысль.

— Моя белая невеста! Моя нежная! Я люблю тебя...

Ванда прикрыла его рот ладонью руки.

— Не надо... Неужели ты не понимаешь, что слова не нужны? Мы стоим у грани счастья, а счастьем не нужны слова... Мы стоим у грани горя, ему тоже не нужны слова. Не спрашивай ничего. Так должно быть... Думай обо мне, как хочешь, но никогда не думай плохо.

— Нежная! Ты плачешь?

— Это слезы счастья... Мига счастья... и горя всей жизни.

Игорь привлек Ванду к себе.

— Мой... мой... мой...

.

* * *

Расставшись с Мравиным, Ванда вернулась в охотничий домик. Она тихо вошла в комнату и, словно о чем-то вспомнив, чего-то испугавшись, остановилась. Растерянный взгляд задумчивых глаз виновато перескакивал с одного предмета на другой, словно спрашивая: — «Что случилось?» И только нервно бьющееся сердце знало, что случилось что-то большое, непоправимое, чего сейчас не может охватить разум. Пришла стихия, которой восторженно отдался Мравин, и с которой не могла и не хотела бороться Ванда. Густая краска радости и стыда залила ее лицо, когда ее мысль вдруг коснулась Мравина. Не давши ясного ответа

на то, что случилось, мысль оборвалась, и Ванда сразу почувствовала себя беспомощно растерянной. Она опустилась в кресло. Безжизненно повисли бледные руки, холод отчаяния отразился в испуганных глазах. Она почувствовала, что вдруг все смешалось: Игорь, стыд, Ромуальд, позор, расплата, и это «все» требует от нее ответа. Требуется немедленно, сейчас, когда парализованный разум унес ее мысли, их ясность, когда у нее нет слов, определяющих сложность ее чувств. Она тихо заплакала. Крупные слезы скатывались по ее щекам и яркими звездочками падали на ее колени. Она следила за ними, считала их, и они будили в ней радость нового счастья, светлого и прекрасного, но каждый раз, когда к ней возвращалась ясная мысль, оправдывающая это счастье, когда она трепетно касалась его, падала другая, отравлявшая ее существо чувством позора и стыда.

— «Почему вдруг все стало таким неясным?» — спрашивала она себя и, уклоняясь от прямого ответа, продолжала: — «Нет, я не могу, не хочу думать об этом сейчас».

Стараясь отогнать от себя тяжелые мысли, она чувствовала, что она вся раздвоилась.

— Странное ощущение, — вслух сказала она. — Я чувствую, что сейчас у меня два сердца. И каждое бьется по-разному. Я слышу их. Одно все время повторяет — «Игорь», — другое — «Ромуальд». Одно бьется радостью, и душа поет, другое — печалью, и душа плачет. Вот почему и слезы мои, одни радостные, другие печальные.

Она задумалась. Полные слез глаза смотрели в одну точку и выражали глубокую мысль, тяготившую ее. Она думала о Мравине. Вдруг она почув-

ствовала тяжесть во всем теле. Ей показалось, что она немеет. Сделав усилие над собой, она порывисто встала, прошла несколько шагов и чем-то испуганная остановилась. В слезах расширенных глаз отразился синий свет лампы, горевшей у ног Мадонны. Ванда долго глядела в спокойные, добрые глаза Пречистой. Она не молилась, и только остановившийся взор потухших смиренных глаз о чем-то просил Мадонну. Свет лампы вдруг сделался беспокойным, часто замигал и погас. Через неплотно закрытую дверь на ковер упал серо-розовый свет проснувшегося утра. Скрестив руки на груди, Ванда вошла в спальню и опустилась на колени. Она слышала стук своего сердца, и чем чаще оно билось, тем сильнее она понимала безвыходность своего положения и свою виновность. Некогда гордая, а теперь стыдливая голова опускалась все ниже и ниже.

— «Прости, Пречистая!.. Аминь». — тихо сказала она и легла в кровать.

Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, устремленными в темноту комнаты. Ей казалось, что она видит всю свою жизнь.

Бекетовка... Задорная, шаловливая шестнадцатилетняя девочка... Первая встреча с Игорем... Не обратил внимания, уехал... Первая царапина в сердце... Несчастье с отцом... Ромуальд... долг дочери... свадьба... верность... смерть отца... сомнения... последняя встреча с Игорем... измена... позор...

Как это случилось, что нас теперь трое? — спросила она себя. Да, трое. Как я ошиблась в Игоре. Не поняла, не почувствовала его. Смешала с теми мужчинами, которые искали только моей

близости. Искали всегда, везде. Стихийный ужас в том, что он любит меня. Я поняла это только сегодня. И я люблю его, иначе я не могла бы... Но как же будет теперь? Почему для других, для многих ложь кажется вполне естественным и нормальным законом жизни? Ложь мыслями, словами, телом. Почему я не умею лгать? Почему для меня случившееся так мучительно и тяжело? Почему? Не знаю... Я знаю только то, что мы не можем быть счастливы. Кто мы? Кто должен идти дорогой несчастья? Кто? Ромуальд? Никогда... Я никогда не нарушу своего обета. Игорь?.. Нет, нет, — закричала она и, испугавшись своего голоса, села на кровати. Почему Игорь? За то, что любит меня? Боже! Как тяжело, какая я несчастная, повторяла она, до боли сжимая руками голову. Обессиленная, она упала на подушку. Осушенные Мадонной слезы снова потекли из глаз. Она не пыталась их остановить. Через них она поняла, что дорогой несчастья пойдет не один Игорь, пойдет она, пойдет Ромуальд.

.

В соседней комнате послышался шум. Ванда встрепелулась. Она ясно слышала, что в комнату кто-то вошел.

— Кто там? — тревожно спросила она.

— Это я, барыня, — ответила Алень, — завтрак на столе. Уже 8 часов.

— Какой завтрак? какие 8 часов, — тихо спросила она себя, и в ее сознании впервые встал ужас необходимости и ненужности встречи с Щавинским.

— Да, да, Алень. Передайте господину Щавинскому, что я чувствую себя не совсем здоровой и

выйду только ко второму завтраку, в час дня. Можете идти. Разбудите меня в одиннадцать, — бросила она вдогонку уходящей Алене, лишь только для того, чтобы остаться одной, чтобы ее никто не беспокоил.

Ванда встала, одела легкий халатик, открыла портьеры, окна. Яркое солнце залило комнату веселым светом. Все радовалось, смеялось, звало к жизни. В комнате ожили цветы, картины, статуэтки. На потолке, отражаясь от зеркала, забегали шаловливые зайчики. Ванда подошла к зеркалу и испугалась своего отражения. Она не узнала себя, так изменили ее мысли одной ночи. Больная улыбка искривила ее губы. Она, молча, покачала головой. — «Бедная Ванда», — подумала она. Слезы подступали к горлу, но вдруг мысль побежала по совершенно другому кругу и эхом новой тяжести отложилась в усталом мозгу. — «Щавинский», — тихо сказала она, и ужас предстоящей встречи, ненужной и тягостной для нее, отразился на ее лице.

— Глупая, зачем я тогда оставила его? Какой он лишний сейчас. Он такой ничтожный и жалкий в тяжелом дыхании сегодняшнего дня моей жизни. Это моя жизнь, мое горе, и я хочу быть одна. Но как избавиться от него? Почему все стало таким сложным?

Она на минуту задумалась, беспомощно развела руками и подошла к окну. Свежий воздух утренней прохладой коснулся ее воспаленного лица. Белый ручной голубь, ее любимый голубь, перелетел с дерева и, взмахнув в воздухе два раза крыльями, сел на ее плечо. Он что-то непонятное говорил ей и маленькой головкой с хохолком касался ее щеки. Нежданная ласка теплом разли-

лась в сердце Ванды, на мгновение оторвала ее от мрачных мыслей. Она прижалась щекой к голубую и спросила: — Почему я мучаюсь? В чем-то сомневаюсь? Ведь я этого хотела? Голубь старательно отвечал ей: — «Мра . . . мра . . . мра . . .»

— За завтраком скажу Стасу, что срочно должна ехать к тяжело-больной соседке, где задержусь неизвестно на какое время. Ложь . . ., опять ложь. Но она мне нужна.

Ванда приняла теплую ванну, выпила двойную дозу успокоительных капель и легла в кровать. Она не спала, а моментами куда-то проваливалась, падала, и в каждом падении ей ясно рисовались образы Игора, Ромуальда, Щавинского.

*
*
*

Солнце еще не проснулось, когда Мравин возвращался домой. Уходила ночь. Алой вуалью одевался восток, розоватым подсветом лаская далекие голубые холмы, прозрачный пар нависшего тумана, дремлющие пашни. В серо-лазорево просторе робко нежилась природа. Утренней росой умывались цветы в цветущей долине. В истоме тишины, нарушаемой размеренным фырканьем бегущего Ахилла, рожденное утро ждало солнца. Мравин подсознательно улыбнулся своим мыслям и чувствовал, как аккордом его счастья радуется и поет природа. Первый раз в жизни он понял, что сегодня коснулся чаши нового таинства любви. Таинства прекрасного, светлого, очистившего его от обычной грязи мужского торжества, грязи случайного обладания. Он ощутил смиренную чистоту Ванды и сейчас боялся расплескать чашу ее

торжествующей любви. Он понял, что едет домой не один, что в свою жизнь он несет ее, чистую, прекрасную, несет как жену, как мать своих будущих детей.

«Как прекрасна жизнь», — подумал он и мыслями вернулся к недавнему и несколько странному расставанию с Вандой. Он не особенно глубоко отнесся к ее категорическому требованию прекращения дальнейших встреч, считая его естественным, минутным раскаянием замужней женщины, изменившей мужу. Он не знал причин ее измены, но он и не хотел их знать. Он ни секунды не сомневался в том, что его любовь к ней поглотит слабость минутного раскаяния. «Любви не нужны законы! Любовь сама закон!» — думал он и радостно переносился в волшебный мир своей первой любви. Он не хотел сейчас думать о тех трудностях, которые могут и должны встретиться на его пути. Он чувствовал себя сильным, и это сознание своей силы, воли и любви заполняло все его существо чем-то светлым и неизведанным.

Ахилл почувствовал дом, потянул повод и побежал широкой свободной рысью. Копыта мягко простучали по деревянному настилу небольшого моста. Слева, на фоне чернеющих садов, в розоватом мареве утра, показалось имение. Мравин сдержал Ахилла и въехал в ворота. Он слез с лошади и был удивлен встречей с Лукой.

— Ты что, старик, не спишь!? — с оттенком беспокойства спросил Мравин.

— Так нельзя, барин. Уехали, ничего не сказали, куда. А тут вам телеграмма. Телеграмма, не письмо. Может, что важное. А где я искать вас бу-

ду? — проворчал Лука, подавая Мравину телеграмму.

— От кого телеграмма?

— А как я знаю, барин.

Мравин прошел в кабинет, зажег лампу и сел за стол. Телеграмма была от управляющего имением. Он извещал Мравина о тяжелом состоянии его матери и просил немедленно прибыть в имение. Мравин посмотрел на часы и вслух сказал: — Успею... До отхода поезда осталось два часа сорок минут.— Он еще раз прочел телеграмму, потер лоб, как бы обдумывая, и, повернувшись к Луке, виновато сказал: — Мама плоха. Еду к ней. Прикажи запрягать лошадей. Да чтобы побыстрее. У меня мало времени. Собери мой дорожный чемодан. Потом придешь и поможешь мне переодеться.

— Слушаюсь. Кушать будете?

— Нет.

— Мне прикажете с вами ехать?

— Нет, нет, оставайся здесь.

Мравин отложил в сторону телеграмму и задумался. Беспокойные мысли объяли его и безотчетной тяжестью коснулись нераспустившихся цветов его счастья.

— Надо известить Ванду о моем отъезде. Нет, не надо, — сказал он, смотря на секундную стрелку больших часов, уносящую секунды жизни. Он написал две телеграммы: управляющему — о своем приезде — и Боргу о болезни матери и своем срочном отъезде к ней. Он встал, несколько раз прошелся по комнате, подошел к столу и в телеграмме Боргу приписал: «Пошли Наташе от меня пять фунтов шоколада Крафт».

Мравин приехал на станцию одновременно с приходом скорого поезда. Он отправил телеграммы, купил билет, оставил в купе чемодан и прошел в вагон-ресторан. Заказав бифштекс и кофе, он сел у стола и через большое зеркальное окно следил за быстро меняющимися красками просыпающейся природы. Тронулся поезд. Вагон мягко качнуло на выходной стрелке, колеса запели однообразную мелодию. Мравин любил музыку колес. Ему всегда казалось, что он едет не один, что кто-то разговаривает с ним, отвечает на его мысли, оспаривает их или соглашается с ними. Он стал прислушиваться к говору колес и почувствовал, что сегодня в своей несложной мелодии они звучат, как огромный оркестр. Он сразу уловил несоответствие слияния в одной мелодии мажора и минора. Ему показалось странным, что, нарушая гармонию музыки, колеса не фальшивили, не звучали диссонансом. Как только его мысль касалась Ванды, колеса пели могущественную, великую симфонию жизни, в радостном мажоре постукивания звали к свету, к счастью, и им сладостно вторили бегущие назад пашни, пригорки, ручейки, верстовые столбы, голубая даль неба. Все пело гимн жизни. И вдруг колеса меняли свой тон. В них плакали волторны, альты, стонали скрипки, и все сливалось в беспредельном скорбном рыдании. Все было насыщено симфонией смерти, и тревожная мысль летела к матери. Мравин потер лоб, и как-то без его воли в ушах зазвучали мудрые слова Луки: «Никто не знает часа своего ухода. Только глаз знает». Им овладело большое желание как можно скорее посмотреть в глаза матери, увидеть в них жизнь, и он мучился тем, что

может это сделать только завтра утром. А колеса снова пели о жизни, и перед глазами вставал прекрасный, нежный образ Ванды...

На станции Мравина встретил Александр Павлович, управляющий имением.

— Здравствуйте, Александр Павлович. Как мама? — тревожно спросил Мравин.

Александр Павлович развел руками и ниже опустил голову.

— Что вы молчите? Уже?

— На все воля Божия... Борется за жизнь... Еще жива.

Они сели в коляску. Лошади быстро домчали их в имение и, на полном ходу въехав в широкие ворота, остановились перед домом. Мравин торопливо перескочил несколько ступенек, перебежал широкую веранду и вошел в дом. Его остановила гнетущая тишина. С разных сторон на него смотрели какие-то незнакомые ему люди, смотрели, молча, виновато, словно призывали его разделить с ними скорбную тишину. Он понял, что эта тишина святая. Тишина ухода, прощанья с жизнью. Он растерянно постоял несколько секунд и, тихонько подойдя к двери, вошел в комнату матери. Она полулежала на кровати, обложенная подушками. Бледное без кровинки лицо с заостренными скулами и подбородком было повернуто в сторону двери. Пряди влажных седеющих волос свисали на виски. Мравин нерешительно сделал два шага и остановился. Мать открыла глаза. Они на мгновение радостно засияли последней искрой жизни. Тяжелые веки прикрыли куда-то глубоко ушедшие глазные впадины. Он подошел к кровати, осторожно взял холодеющую руку матери и, скло-

нившись к ней, отогревал ее теплом поцелуев. На мгновение, он ощутил чуть уловимый, бессильный намек на пожатие и сразу понял, что это грань жизни и смерти. Он поднял голову, хотел еще раз взглянуть в глаза матери. Они были крепко прикрыты воспаленными веками. Через семь минут мать оставила мир. Мравин опустился на колени, склонил голову и почувствовал, как чья то теплая рука коснулась его плеча. Он повернул голову. Перед ним, в траурной рясе, стоял отец Николай, духовник их семьи, вызванный из города управляющим.

— Слов утешения нет. Она теперь там, где нет ни болезней, ни печалей, ни вздыхания . . . — Он обнял, поцеловал Мравина в щеку и, глядя ему в глаза, кротко добавил: — «Но жизнь бесконечная».

Похороны матери, ввод в наследство, проверка отчетности имения задержали Мравина в «Темерево» дольше, чем он предполагал, и только через полтора месяца, дав полную доверенность Александру Павловичу, он возвратился в Польшу, в свое имение.



Стась Щавинский, не меняя своего правила, как всегда, проснулся в восемь часов утра. Он лениво потянулся к шнурку, раздвинул тяжелую портьеру и улыбнулся весеннему солнцу, заливавшему комнату веселым ярким светом. Несколько минут он лежал неподвижно, как-бы что то обдумывая, потом резко встал, тщательно побрился, несколько раз улыбаясь зеркалу намыленным

лицом. Он накинул легкий халат, сбегал на озеро, искупался и веселый вернулся в комнату. Одевшись, он, дыша свежестью и здоровьем, прошел на веранду, где обычно подавался первый завтрак. Вошла Аленя.

— Доброе утро, барин. Как спали?

— Здравствуйте, Аленя. Спал превосходно, — приветливо ответил Щавинский, сядя за стол.

— Барыня просила вас кушать, не ждать ее. Она чувствует себя не совсем здоровой и выйдет только ко второму завтраку.

Аленя налила Щавинскому чашку дымящегося кофе, пододвинула сахар, топленые сливки и ушла. Известие о недомогании Ванды на секунду кольнуло мозг Щавинского. В серых остановившихся глазах отразился хищный зверь. Это обычно бывает с хищником, когда он теряет добычу. В глазах загорелась новая надежда и на секунду остановившееся сердце быстро заклокотало. Щавинский стиснул зубы, через нос глубоко вздохнул и с минуту смотрел в пространство прищуренными волчьими глазами.

Вспышка прошла. Щавинский с аппетитом съел холодный завтрак, выпил вторую чашку кофе, небрежно просмотрел варшавскую газету и, чтобы убить долгое время до второго завтрака, решил сделать дальнюю прогулку верхом. Он прошел на конюшню, приказал оседлать лошадь и, когда она была выведена из денника, вспомнил, что не взял с собой револьвера. Следуя африканской привычке, он никогда не выходил из дома без оружия. Щавинский вернулся в комнату, вынул из ящика стола маленький браунинг, на секунду о чем то задумался и, как бы придя к определенному реше-

нию, положил его в задний карман брюк. Потрепав лошадь по шее, он разобрал поводья и легко опустил свое тело в седло. Выехал за ворота имения сам не зная, куда и зачем он едет. Он инстинктом чувствовал, что эта прогулка нужна ему, что она вернет ему необходимое спокойствие, всегда являющееся залогом успеха.

В час дня Ванда вошла в маленькую столовую, где в жаркое время дня подавался завтрак. Она была спокойно сосредоточена, и только бессонная ночь тенью усталости отразилась на ее прекрасных задумчивых глазах.

— Алень, господин Щавинский у себя?

— Да, барыня.

— Попросите его к завтраку, — спокойно сказала Ванда, — опускаясь на стул.

Через минуту в столовую вошел Щавинский. Он приблизился к Ванде, дольше положенного задержал ее холодную руку у своих губ и, не выпуская ее руки, учтиво тепло сказал: — Был опечален узнав о вашем недомогании, графиня. Надеюсь, ничего серьезного? Обычная усталость?

— Пустяки, все прошло. Садитесь Стась, — освобождая свою руку ответила Ванда. Она очень редко называла Щавинского «Стась», и сейчас это сделала умышленно, почему-то считая, что искусно скрытая мягкость облегчит ей разговор о ее внезапном отъезде и поставит Щавинского в необходимость покинуть имение.

Щавинский сел против Ванды, не торопясь налил в бокалы белого вина и развертывая салфетку вкрадчиво мягко сказал: — Я полагаю, что причиной вашего нездоровья была обыкновенная усталость. Вы наверно плохо и мало спали?

— Ошибочное предположение. Простившись с вами, я поднялась к себе, и, едва коснувшись подушки, заснула как убитая. Как понравился вам бал? Правда было весело? Вы были правы в своем предположении, что вся Варшава будет говорить о нем.

— И о вас, конечно, — с чуть уловимой саркастической улыбкой добавил Щавинский.

— Почему обо мне? По моему всем было весело. Немного нарушил веселье господин Мравин своим внезапным отъездом, но это не так важно. Правда, Желтовская очаровательна? Не понимаю мужчин. Чего они зевают? Молода, красива, умна, богата.

Щавинский пристально смотрел в глаза Ванды, и ей стало жутко от взгляда этих белесых, волчьих глаз. Первый раз она прочла что то новое в его остановившемся взгляде. Она почувствовала себя раздетой и смущенно опустила голову.

— А скажите графиня, вы всегда говорите правду, или всегда лжете? — рассчитанно спокойно спросил Щавинский, не спуская глаз с Ванды.

— Что вы хотите этим сказать? — растерянно спросила Ванда и вся залилась румянцем.

— Только то, что сказал... Только то, что вы сказали неправду.

— Я вас не понимаю, господин Щавинский.

— Напрасно. Но вы очень скоро поймете. Да, между прочим, вы не знаете, когда господин Мравин вернется из Петербурга? Он нужен мне.

— Почему вы нашли нужным спрашивать об этом меня?

— Потому, что уверен, что вы знаете. А может быть он и не уезжал?

— Об этом спросите самого Мравина. Я его дел не знаю.

— Опять ложь, — повысив голос сказал Щавинский.

— Кто дал вам право так говорить со мной?

— Вы сами... Ваша ложь... Мое чувство... мое желание. Все это время я старался подавить его, но сейчас нет силы, которая могла бы остановить его.

— Сила есть.

— Н е т...

— Есть... Ваш разум и порядочность.

— Их нет... Они поглощены страстью к вам.

— Замолчите, Щавинский. Я вам запрещаю так говорить со мной.

— Довольно ребячества. Вы не маленькая неопытная девочка и отлично понимали, что вы делали, изменяя мужу.

— Вас не касается моя личная жизнь...

— Зато она касается вашего мужа. Будьте благоразумны. Если вы уже пошли по пути измены своему мужу, какая разница, с кем изменять? Сегодня Мравин, завтра другой...

— Замолчите, или я ударю вас. Ш п и о н...

— Умеющий хранить тайну, — с наглой улыбкой сказал Щавинский. — Но, естественно, за молчание шпиону должно быть уплачено.

— Шантажист!.. Правильно сказал Мравин: — «Есть люди, которых с первой встречи хочется ударить по лицу». Это он о вас сказал.

— Он ответит за эти слова.

— Сколько вы хотите?

— Д е н ь г и ? По моему, графиня, момент для шуток не подходящий. Вам не к лицу роль невин-

ной девочки. Вы отлично понимаете, о чем я говорю. Подобные тайны деньгами не оплачиваются.

Щавинский порывисто встал, но только хотел сделать шаг, чтобы приблизиться к Ванде, как она вскочила со стула и гневным взглядом на секунду остановила его.

— Один шаг, и я позову прислугу.

— Будьте благоразумны, графиня. Прислуга никогда не должна знать о любовных похождениях своей госпожи. Вы это лучше знаете, чем я.

— Мерзавец!.. Негодай! — с уничтожающим презрением выкрикнула Ванда.

Щавинский несколько секунд стоял молча, нагло оглядывая Ванду. Плотоядная улыбка застыла на его губах.

— А знаете, графиня, вы в гневе еще прекраснее... Еще обольстительнее.

— Довольно пошлости, господин Щавинский. Даю вам два часа на сборы. Лошади будут ждать вас и доставят на станцию. Имейте в виду, что если вы не уедете добровольно, я прикажу прислуге вывести вас силой.

Ванда резко повернулась и направилась к лестнице.

— Графиня, последний раз обращаюсь к вашему благоразумию. Если вы не хотите, чтобы ваш муж узнал о ваших любовных интрижках с господином Мравиним...

— Подлец!.. Африканец!, — с лестницы крикнула Ванда и быстро поднялась к себе в комнату. Она позвонила. Пришла Алень.

— Что прикажете, барыня?

— Прикажете запрячь лошадей. Господин Щавинский уезжает на станцию.

— Когда, барыня?

— Через пол часа. Можете идти.

Горничная ушла. Ванда упала на кровать и залилась горькими слезами. Через пол часа Щавинский уехал на станцию.

* *

Нежданно, раньше положенного срока, из Америки вернулся Ромуальд. Ванда выехала в Варшаву встретить мужа и была совершенно спокойна, потому что знала, что все-равно все расскажет Ромуальду. Подошел поезд. Возбужденными глазами она отыскивала Ромуальда в толпе пассажиров, радостно подбежала к нему, два раза поцеловала в щеку, погладила голову, но через ее отсутствующие глаза он почувствовал не свойственную ее натуре фальшивую наигранность. Начались нескончаемые разговоры о его поездке, о белом бале, Щавинском, о Мравине. Очень скоро Ромуальд заметил в жене перемену. То она была раздражительной, хотя к раздражению не было достаточного повода, то становилась непроницаемой. Через ее потухшие глаза он понял, что она что-то скрывает от него, и чем дольше скрывает, тем сильнее в них отражаются ее мучения. В поисках истины, он многое передумал и совершенно отверг мысль, что за время его отсутствия Ванда могла встретить когонибудь, сделать ложный шаг. Он терялся в догадках, но чувствовал, что что-то произошло или что-то должно произойти. Он знал честный прямой характер жены, ее полную непригодность ко лжи и искал причину в чем то другом.

Ванда мучилась мучениями мужа, но ясно сознавала, что еще не готова открыть ему горькой

правды и лишь только потому, что эта правда может быть неправильно понята мужем. Часто, чтобы прийти к окончательному решению, она уходила в самую глубь парка, садилась на упавшее полуистлевшее дерево и отдавала свои мысли шороху нависшей листвы. Она следила за падением отживших листьев, и в этот момент ее тревожные мысли касались не Ромуальда, а Мравина. Последнее время она особенно часто и близко чувствовала его, и в отчаянии, разводя руками, повторяла: — «В моменте жизни столкнулись правда и ложь. Ложь перед Ромуальдом, который любит меня и правда перед Игорем, которого люблю я. И ужас в том, что ложь откроется. Я сама открою ее Ромуальду, а правда умрет со мной. Игорь никогда ее не узнает. Какой ужас. Отец не будет знать о рождении своего ребенка. — В сердце Ванды все перепуталось, потеряло ясность, слилось в противоречивый хаос. Она то обвиняла Мравина, что за полтора месяца он не сделал ни одной попытки увидеть ее, то возводила безоговорочное подчинение ее требованию прекращения дальнейших встреч в высший культ любви, и жалела его.

Так бежали дни неразрешенных сомнений и ночи тяжелых мучений. Ванда заметно осунулась и побледнела. Ромуальд все больше беспокоился ее состоянием и решил сам поговорить с женой.

* *

*

Мравин возвращался в свое имение. Он сидел в одноместном купе первого класса и старался разобраться в двух событиях, одновременно и неожиданно вступивших в его жизнь. Смерть матери

оставила в его душе тяжесть потери близкого человека, давшего ему жизнь. Как религиозный человек он понимал, что закон неизбежного ухода из жизни равен для всех, и что мать не умерла, а перешла из одной жизни в другую, в вечную жизнь. Это ясное сознание, облегчающее тяжесть утраты, пришло к нему через последние слова молитвы... «И СОТВОРИ ЕЙ ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ».

— «Дай ей вечную память... вечную жизнь», — так молился он у гроба матери и так понимал слова этой молитвы, обращенные к Тому, кто дарует человеку жизнь на земле и в загробном мире.

Более сложные мысли его и переживания были связаны с Вандой. Под строгим руководством умного и принципиального отца, у него с детства был выработан свой неписанный свод законов и правил, обнимавших всю его жизнь. Он ими руководствовался, и они точно определяли и проводили границу между хорошим и дурным. Он никогда не выходил из круга этих правил, никогда не колебался в их исполнении. Случайные встречи с Вандой несколько пошатнули устои этих правил, но он продолжал их соблюдать, и они все еще казались ему жизненными и несомненными. После последней встречи с Вандой он понял, что кодекс его правил нарушен, что руководящий смысл их раздвоился, потерял свою несомненность, и породил цепь сомнений и трудностей. Он полюбил замужнюю женщину и чувствовал, что эта любовь требует от него чего-то такого, что до сих пор не было предусмотрено в своде его правил. Они вдруг оказались ложными, нежизненными, неприемлемыми, и он впервые в жизни почувствовал, что выбит из своей обычной колеи. С того момен-

та, как Ванда полюбила его, он твердо знал, что никому и никогда ее не уступит.

— Она не способна на обман временной связи. Я люблю ее, и она должна и будет моей женой, — несколько раз повторил он, и в этих непоколебимых словах чувствовал его неотъемлемое право на нее, как жену.

— Правда, сейчас в глазах общества, она оказалась в несколько фальшивом положении. Это полностью моя вина, но я искуплю ее. Ванда достойна уважения и я дам ей его, — подумал он и мысль его коснулась самого графа Заком. По отношению к нему он не испытывал ни малейшего угрызения совести. Он как то неожиданно и законченно определенно представился ему лишним, ненужным лицом на пути его новой жизни.

«Печально, но он должен уйти. И если в нем не найдется достаточного благоразумия уйти самому, я заставлю его уйти. Естественная плата за ошибку, сделанную им самим».

Что касается высшего света, в котором вращалась Ванда, и который несомненно узнает о их связи раньше, чем их жизнь будет уложена в рамки закона, отношения его были вполне определенными и непоколебимыми. «Все могут знать, предполагать о нашей связи, но никто не смеет говорить о ней. Я сумею заставить уважать женщину, которую я полюбил и которая полюбила меня».

Взвесив положение заинтересованных сторон, точно определив свои действия по отношению Ванды и ее мужа, он пришел к твердому убеждению, что все будет так, как он решил, и немного успокоился. Он не видел Ванды полтора месяца. Эта вынужденная разлука с одной стороны отвечала

желаниям Ванды, с другой была вызвана внезапной смертью матери. Подошла ночь. Он лег в кровать с радостным сознанием того, что завтра сама жизнь снимет с него запретный карантин, он снова увидит свою Ванду, и все сразу станет ясным. Он предвкушал спокойный сон, но ошибся. Мысли снова овладели им и чем больше он думал, тем сильнее чувствовал и переживал сложность и неопределенность создавшегося положения. И только под утро ему стало ясно, что один, без Ванды, он ничего решать не может.

— Я должен ее видеть, немедленно видеть, — несколько раз повторил он и мысль перенеслась к той, которая сейчас владела его сердцем, разумом, жизнью.

Мравин приехал в имение ранним солнечным утром и сразу прошел в кабинет. Вошел заспанный Лука.

— Здравствуй, старик! Здоров?

— Бог не оставляет. С приездом, барин.

— Где почта?

— На столе, барин. За ваш отъезд много скопилось, так я ее всю на маленький стол положил.

Мравин подошел к столу и быстро стал перебирать конверты. Он искал письма Ванды, и не нашел его.

— Это вся почта?

— Вся, барин, как есть.

— Хорошо . . . иди. Ты, пока, мне не нужен.

— Как здоровье матушки? — тихо спросил Лука.

— Ах . . . да . . . Я еще не сказал тебе. Мама умерла, — не подымая головы, ответил Мравин.

— Царство ей небесное. Хорошая барыня была, правильная. Бог не обидит, согреет, — крестьясь широким крестом сказал Лука, и его слова, слова большой чистой веры, звучали как святая молитва.

— Кушать будете?

— Да, я проголодался с дороги. Приготовь мне чтонибудь через час. Я пока разберу почту, умоюсь...

Но почты Мравин не разбирал. Он сел за письмом Ванде. Объясняя ей свое вынужденное отсутствие, он упомянул о болезни и смерти матери и просил Ванду о немедленном свидании, когда и где она пожелает.

Окончив завтрак, он подозвал Луку.

— Старик, сейчас поедешь в имение Высокий Двор и передашь это письмо графине Заком. Ты знаешь ее?

— Знаю, барин.

— Передашь в собственные руки. Понимаешь?

— Как не понять. Значит только им. Не извольте сомневаться.

Мравин передал письмо Луке и перешел в кабинет. Он сел у стола, охватил руками голову, закрыл глаза и погрузился в томительное ожидание. Он не хотел, чтобы даже яркий свет ласкового дня мешал его мыслям. Они были о Ванде. Он не сомневался, что она ждет его и послал письмо только потому, что не знал, вернулся Ромуальд из Америки или нет. Минуты тянулись тягостно долго. Он уже шагнул по кабинету и с трепетом ждал возвращения Луки. Послышался конский топот. Мравин вышел на веранду. Вернувшийся Лука ответа не привез.

— Да ты лично видел графиню?

— А как же, барин. Из экипажа вылезаю, а они у воды сидят. Будто узнали меня, вроде как встрепенулись. Ну я по форме: подошел, картуз снял, поклонился и говорю: — Письмо вам от господина Мравина. Они вроде как не ожидали, письмо не берут, ровно чего то испугались. Ну я тут на хитрость пошел и говорю: — «Приказано в личные руки передать».

— Да не тяни ты. Что дальше?

— Письмо взяли, спиной ко мне повернулись. Слышу, бумага шуршит. Долго изволили читать, должно письмо длинное. А я будто ничего не вижу. На уток смотрю, как озоруют на озере. Потом ко мне повернулись и говорят: — «Передайте барину, что ответа не будет». Я рот не успел разинуть, а они, словно ветер мимо меня, и прямо в дом. Мне так здается, ответ по почте пошлют.

Мравин провел тяжелый день и бессонную ночь. Все что угодно, но этого он не ожидал. Он все время испытывал ощущение, что его ударили по лицу. Ударил любимая женщина. И это непонятное для него, ничем не обоснованное оскорбление спутало все его мысли, до того казавшиеся ему такими ясными. Гордый, до болезненности самолюбивый, он старался найти в кипящих бунтующих мыслях оправдание Ванде. И он нашел его.

«Когда любишь, любишь всего человека. Я люблю Ванду такой, какой она есть. Люблю ее ошибки, слабости, оскорбления», — вслух сказал он и твердо решил завтра ехать к ней.

* *

*

Ромуальд и Ванда сидели на открытой веранде за завтраком, когда Мравин, на Ахилле, въехал

в ворота имения. Первым его заметил Ромуальд.

— Кажется Мравин? .. Он ... он ... Удачно, прямо к завтраку. Прикажи Алене поставить лишний прибор, — сказал Ромуальд, приподнимаясь со стула. Ванда не успела сказать и слова, как он спустился со ступенек лестницы и пошел навстречу Мравину. Первый момент Мравин, не знавший о возвращении графа, почувствовал себя в каком-то смущении. Но это был момент. Мравин овладел собой и, не выказав тени какой либо растерянности, улыбнулся Ромуальду своей обычной, подкупающей улыбкой.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — воскликнул Ромуальд, крепко пожимая руку Мравина.

— Очень рад, что за мое отсутствие вы ближе познакомились с женой.

— А я и не знал, что вы вернулись. Давно-ли?

— Неделю тому назад. Пойдемте, пойдемте ... Жена будет очень рада видеть вас. Слышал, слышал о ваших необычайных успехах.

— Лошади и скачки, это моя стихия, граф.

— Я не только про скачки говорю, — многозначительно улыбаясь возразил Ромуальд, беря Мравина под руку.

— А потрясающий успех на белом балу? Всех невест с ума свели. А впрочем, ничего удивительного нет. Молодость, — это успех. Я только не совсем понимаю вас. Жить в имении и быть холостым. Я сильно подозреваю, что устраивая этот бал, жена имела скрытую цель.

— Если не секрет, какую?

— Ну, вывести вас из вашего затворничества. Познакомить вас с невестами. И, если хотите знать мое мнение, не пропустите Ядвигу Желтовскую.

Умная, прекрасно воспитана. Будет хорошая жена и мать. Брак ведь это лотерея. Смотрите, какой счастливый билет вытянул я.

Они вошли на веранду. Ванда, чуть побледневшая, но искусно скрывающая свое волнение, протянула Мравину руку.

— Здравствуйте, Игорь Константинович. Садитесь. Вы очень удачно приехали, прямо к завтраку.

— Я бы сказал — очень неудачно, графиня, потому что я только что позавтракал, — с наигранной улыбкой ответил Мравин.

— Может быть чашку кофе?

— От кофе не откажусь. Спасибо.

— Ну, что нового в Нью-Йорке, граф ? — спросил Мравин, повернувшись к Ромуальду, и умышленно избегая взгляда Ванды.

— Что нового? Все тот же сумасшедший Вавилон. Все бегут, все торопятся. А куда и зачем, сами не знают. Искусственно создают темп жизни, чтобы сделать ее короче. Ведь мы делаем тоже самое, имеем те же достижения и успехи, и никуда не бежим. Лишнее изнашивание нервов и людей. Преждевременное пресыщение жизнью, переутомление и болезни и какая-то странная скупая старость.

— Я того же мнения, граф. Постоянно жить в Нью-Йорке я бы никогда не согласился. Так, наездом, еще можно. Столица мира.

— Да я никогда не променяю уют и покой именина на бегущий многомиллионный город.

— Барин, механик с завода приехал. Вас просят в контору, — доложил лакей.

— Сейчас, сейчас. Простите, я скоро вернусь. Да у вас с женой наверно найдутся более интерес-

ные темы разговора, чем Нью-Йорк, — торопливо сказал Ромуальд, покидая веранду.

Мравин молча смотрел на Ванду. Она порывисто встала и быстрыми шагами направилась в сторону беседки. Мравин шел за ней.

— Зачем вы приехали? Я просила, я запретила вам...

— Чтобы видеть вас и говорить с вами.

— Я уже сказала... все кончено и никогда не повторится.

— Вы говорите неправду... Вы любите меня.

— Я люблю своего мужа, и хочу чтобы вы уехали, уехали как можно скорее.

— Вы этого не хотите. Вы обманываете себя. Я люблю вас, Ванда.

— Если вы действительно любите, то оставьте меня. Мне нужен покой.

— Поймите, что с того момента, как вы полюбили меня, вся моя жизнь принадлежит только вам. В ней живет сейчас только ваша любовь. Ваша и моя...

— Игорь Константинович, я прошу вас прекратить ваши домогания и дать мне покой.

— Я его дать не могу ни вам, ни себе. Поймите, Ванда, это не страсть... Я долго умышленно избегал вас, боролся с собой, но после того, как вы позвали меня, я понял, что для меня нет и не может быть жизни без вас. Вам я отдаю все: себя, свою жизнь, свою любовь...

— Прошу вас замолчать, Игорь Константинович.

— У вас нет на это права. Вы потеряли его...

Послышались шаги Ромуальда. Разговор оборвался. Ванда взволнованно опустила глаза.

— Игорь Константинович, прошу извинить меня. Мне необходимо задержаться в конторе. Поломка на заводе. Что вы стоите? Садитесь. Я скоро вернусь. Правда, чудесное утро? Это вам не Нью-Йорк. Вернусь, пойдем осматривать конский завод. Мне не хочется так скоро терять вас. Ты задержи Игоря Константиновича, — обратился он к жене, покидая беседку.

— У х о д и т е . . .

— Поймите, Ванда, что вы и я сейчас одно целое. Мы неотделимы. Я не могу жить и не думать о вас, и вы не можете не думать обо мне. Мы дышем дыханием одного и того же желания.

— З а м о л ч и т е ! Если вы любите меня . . .

Ванда не окончила фразы. Она чувствовала, что еще момент и, не думая ни о чем, она уйдет за Игорем. Между ними сейчас стоял только призрак умирающего отца, его последняя воля, маленькая записка, переданная ей после его смерти. «Чтобы остаться честной, свою жертву ради меня ты должна пронести через всю жизнь».

— Я люблю вас, Ванда. Я стою у грани или счастья или отчаяния. Впереди я не вижу покоя ни для вас, ни для себя.

— Господин Мравин, прошу вас оставить мой дом и больше не преследовать меня, — резко обрывая Мравина, сказала Ванда.

— Ваше право, графиня, отказать мне в доме. Но я оставляю за собой право говорить с вашим мужем. Досвидания.

— Вы этого не сделаете. Это бесчестно.

— Мравин не делает бесчестных поступков. Я буду требовать от вашего мужа, чтобы он оставил вас, дал вам свободу . . .

— Я в ней не нуждаюсь . . .

— И если он не согласиться на это добровольно, я вынужден буду оскорбить его старость.

— Я щадила вас, господин Мравин, но ваши угрозы . . .

— Я никому не угрожаю . . .

— Вынуждают меня сказать вам правду. Думайте обо мне, как хотите. Я вас не люблю.

— Вы лжете себе . . . Чувство обмануть нельзя. Я дышу вашей любовью и делить вас ни с кем не намерен. Я никому вас не уступлю.

Ванда, закрыв глаза, слушала слова Мравина. Они, как яд отравляли ее волю, и она понимала, что только оскорбление, сказанное в лицо, может остановить Мравина. Она напрягала все силы своего разума, чтобы найти это ужасное слово и сказать его человеку, которого она любит. Она понимала, что это неизбежное она должна сделать сейчас, сию минуту, пока не вернулся муж. Она посмотрела на Мравина. Жалость залила ее сердце. Но это было мгновение. Перед глазами встала тень отца. Гордо подняв голову, она холодно сказала: — «Неужели, господин Мравин, вы не понимаете того, что это был наркоз желания молодого тела . . . психический порыв. Я вас не люблю . . . Вы противны мне».

Пораженный ее словами, Мравин пристально смотрел на Ванду. Он искал ее глаз, хотел прочесть в них ложь. Они были закрыты. Как бы не зная, что ему делать, он простоял с минуту, и словно опомнившись, и придя к какому то решению, быстрыми шагами стал удаляться от беседки.

Ванда стояла, прислонившись к мраморной колонне. Крупные слезы скатывались из конвуль-

сивно вздрагивающих закрытых глаз. Послышался конский топот.

— У е х а л , — тихо сказала Ванда и открыла глаза.

По проселочной дороге, из под копыт Ахилла, вверх взлетали кудрявые клубы пыли, унося вдаль: жизнь, счастье, любовь.

Кровь прилила к ее сердцу, и только сейчас она поняла, как жестоко, незаслуженно она оскорбила человека, который любит ее.

— Так нужно, чтобы остаться честной, — промолвила она и обессиленная опустилась на скамейку.

Клубы пыли расгаяли в воздухе. Голубое небо звало к жизни. Вдали послышался голос Ромуальда.

* * *

Мравин слез с лошади, передал повод подошедшему конюху, и повернувшись к Луке, тоном приказа, сказал: — Попроси ко мне управляющего.

— Адольф Иванович на покосе, барин.

— Почему на покосе? На каком покосе? — раздраженно переспросил Мравин.

— Хлеб снимаем сегодня. Сами приказали. Пшеница поздняя нонче. Морозы задержали.

— Немедленно пошли когонибудь на покос. Пусть разыщет Адольфа Ивановича и передаст ему, что я хочу его видеть, — на ходу бросил Мравин, направляясь в дом.

Он вошел в кабинет и нервно заходил по комнате. Чувство гнева на Ванду не давало ему покоя. Оно дошло до крайних пределов, и кипящая

лава брошенного ему в лицо оскорбления, заливала его сердце. Бледное лицо временами судорожно подергивалось, отражая невыносимые страдания, и только взгляд холодных стальных глаз отражал непоколебимую волю, зовущую к определенному решению, неважно, правильному или неправильно. Он стиснул зубы, охватил руками голову и тяжело опустился на кресло. Он долго сидел так с закрытыми глазами, как бы боясь, что ласка солнца снимет, раздвоит, отогреет его мысли, снова вернет на путь сомнений, прощенья и новых смутных надежд.

Тихо открылась дверь. Вошел радостный Адольф Иванович.

— Вы хотели меня видеть, Игорь Константинович!? Чтонибудь важное? Я прямо с покоса. Посмотрите, какая красавица уродилась, — сказал он, подавая Мравину большой пучек только что скошенной пшеницы с упругими набухшими зернами, украшенными длинными иглами золотистых колосьев.

— Садитесь, Адольф Иванович, — холодно сказал Мравин, вставая со стула.

Управляющий недоуменно посмотрел на Мравина и удобно устроился в глубоком кресле. Мравин снова заходил по комнате. Он левой рукой потирал лоб, словно старался собрать в одно прыгающие мысли, мешавшие ему начать говорить. Это продолжалось довольно долго, и у Адольфа Ивановича сложилось впечатление, что случилось что-то большое и трудно поправимое.

— Какиенибудь неприятности? — осторожно спросил он.

Мравин, словно очнувшись, остановился посреди комнаты и долгим взглядом смотрел на управляющего, растерянно теребившего пучек пшеницы.

— У меня есть основание быть в дурном настроении, — жестко отрезал Мравин. Он подошел к окну и не поворачиваясь сказал: — Вы знаете, Адольф Иванович, как я ценю вашу работу, опыт, советы, но сегодня я прошу вас мне не возражать. Принятое мной решение никто и ничто не может изменить.

Он опять зашагал по комнате. Адольф Иванович пристально следил за ним и терялся в догадках о причине его дурного настроения.

— Завтра утром я уезжаю в Европу. Уезжаю навсегда. Доверяю вам немедленно продать имение.

— Игорь Константинович! Да как же так? Ведь мы только что все закончили, подошли к моменту, когда...

— Я просил вас не возражать мне, — резко оборвал управляющего Мравин. — Слушайте внимательно. Местных служащих и рабочих рассчитывать с шестимесячным пособием. Всех, прибывших со мной из России, отправить в Темерево в распоряжение Александра Павловича. Я сам напишу ему. Конский завод, библиотеку, ноты, картины, ценности перевезти в Темерево. Все остальное продать и деньги перевести в Париж. У вас есть мой парижский адрес.

— А как же с хлебом? Мы только что приступили к покосу, — упавшим голосом спросил управляющий.

— На ваше усмотрение. Снять и продать, или продать на корню.

— Лука едет с вами?

— Пока нет. Да, кстати, я очень прошу вас, именно вас, взять на себя полную заботу о старике. Ему пора на покой. Он отслужил долгую службу моему отцу и мне, и я хочу, чтобы покой последних дней его жизни был согрет теплом, и чтобы он ни в чем не нуждался.

— Старик цельный и предан вам. Боюсь, зачахнет после вашего отъезда, как цветок без воды. Но я не знаю, Игорь Константинович, как вы решили поступить со мной?

— Простите, Адольф Иванович. Мне с этого надо было начать. Я прошу вас переехать в Теме-рево. Это не значит, что вы поступаете в подчинение Александру Павловичу. Нет... нет... Именьи большое. Всем хватит работы. Кто знает, может родятся новые планы, и вы будете их проводником. Я не хотел бы потерять вас. Я уже сказал, что ценю вашу работу и верю вам.

— Большое спасибо на хорошем слове. Я только прошу вас оставить в моих руках конский завод.

— Конечно. Какие могут быть вопросы. Это ваше детище.

— Ведь молодняк, который я рощу, мне, одинокому, как дети. Около них я сам молодею.

— Я понимаю вас. Дети! Как хорошо вы сказали. Как хорошо иметь детей, — куда-то в пространство сказал Мравин, и мысль его коснулась Ванды.

Он почувствовал, что в этот момент он не может с ней расстаться. Сделав над собой усилие, он повернулся к управляющему и, как бы отвечая на свои мысли, сказал: — Я неудачно ударился голо-

вой о жизнь. Так неожиданно и так больно. Но это все пройдет . . . заживет.

Он с минуту постоял в нерешительности и, протянув руку Адольфу Ивановичу, добавил: — Мы еще увидимся с вами до моего отъезда, а пока пошлите мне Луку.

Адольф Иванович встал, взял со стола пучек пшеницы и, не сказав ни слова, вышел из комнаты.

В 7,30 утра Мравин выехал в Варшаву и вечером, голубым экспрессом, в Париж, искать счастья новой жизни и заглушить горе старой. В Париже он задержался две недели, главным образом по делам своего предприятия. Через вложенные в дело деньги он уже был главным директором и владельцем контрольного пакета с 70-ю процентами акций. В этот свой приезд он на всех произвел какое-то гнетущее впечатление. Все почувствовали, что приехал какой-то другой, колющий человек, по неизвестным для них причинам потерявший свое прежнее обаяние в общении с людьми. Со всеми он был холодно принципиален, сух и немногословен. Окончив свои дела, пренебрегая только что открывшимся сезоном скачек, он, неожиданно для всех уехал в Италию.

Мравин уже месяц путешествовал по Италии, побывал в Риме, в Венеции, в Неаполе, на продолжительное время задержался на берегу живописного озера Лаго Маджоре, но он отлично понимал, что это вынужденное скитание, выдуманное им самим, бессильно было ослабить его душевную боль и мысли о Ванде. Он чувствовал, что ему необходимо найти какое-то сильно действующее лекарство, какой-то наркотик, который поглотил бы

все его существо, заставил бы его чем-то заняться, ибо путешествие и созерцание того, что находится извне, не способно заглушить того, что происходит в душе.

Будучи незаурядным художником-портретистом, он в Неаполе в одной картинной галлерее увидел портрет женщины-вакханки. Она овладела им. Он каждый день навещал ее, и подсознательно в нем постепенно пробуждалось стремление вылить свою боль в образ искусства. Сегодня он особенно долго задержался у портрета незнакомки. Она не отпускала его. Чем дольше он смотрел на бархатную тьму ее глаз, тем больше она сжигала его тайным зовом порока. Но, как только он стремился уйти от греха этих глаз, они сияли нежностью, смущением и из под густых ресниц мерцали отражением небесной чистоты.

«Да, только искусство способно облегчить внутреннюю боль. Только великое искусство часто есть воплощение живого страдания. Но надо иметь силы всего себя отдать ему», — подумал он, прощаясь с таинственной глубиной глаз незнакомки.

Он переехал в небольшой городок в горах, где преимущественно жили мастера кисти, снял небольшой домик с ателье, разыскал симпатичного старичка профессора и под его руководством решил по памяти писать портрет Ванды. Два дня профессор внимательно слушал Мравина, объяснявшего ему мысль будущего портрета, и у него постепенно сложился духовный и физический облик женщины. Это ему было необходимо для подыскания подходящей натурщицы.

— Не легкий сюжет вы выбрали для портрета, — сказал профессор, глядя в глаза Мравина. —

Полет вашей художественной мысли хочет сочетать два цвета, черный и белый. День и ночь, свет и темнота, радость и боль.

Мравин опустил голову и ничего не ответил на меткое замечание профессора, в свою очередь понявшего, что он неосторожно коснулся незажившей раны. Отказав двум натурщицам, Мравин через три дня приступил к работе. Эльна, новая натурщица, смуглая брюнетка с сверкающими, слегка на выкате карими глазами, кроме мягкости движений и теплоты глаз ничем не напоминала Ванду.

Прошло десять дней. Все это время Мравин работал с исключительным упорством. Он часто задерживал Эльну. Они вместе завтракали или ужинали, если сеанс был вечером. И снова принимался за работу, а радостно безвольная Эльна отравлялась ядом запретного чувства. Мравин с каждым днем увеличивал могучий напор своей работы, и у профессора, и у натурщицы создавалось впечатление, что он куда-то торопится, что-то должно случиться, если он не окончит портрет к определенному сроку. Но каждый по разному понимал и переживал его нервную торопливость в работе. Профессор определял ее порывом вдохновения, явившим ему образ истинной красоты женщины. Он был восхищен работой Мравина, считал ее видением настоящего артиста, и дабы не спугнуть искренности его порыва, он не давал ему никаких указаний, оставляя на конец кое какие детали.

Эльна с каждым приходом расцветала как пышный цветок, нежданно получивший влагу жизни, и тревожно боялась, что с окончанием портрета какие-то никому ненужные условности отнимут у нее эту живительную влагу, иссушат цвет ее же-

лания. При каждом молчаливом расставании с Мравиным ее прекрасные глаза потухали, отражая обреченную грусть чего-то недосказанного. Эльна любила.

— Вот этот взгляд вы дадите мне, когда я буду писать глаза, — как-то, прощаясь с Эльной, сказал Мравин.

Подошел последний сеанс. Профессор прислал записку, что по болезни придти не может и просит извинить его. Эльна приехала с маленьким опозданием. Она, как обычно, вошла в ателье, протянула Мравину обе руки, неторопясь сняла легкое пальто, большую с цветами шляпу и каким-то горько больным отсутствующим взглядом посмотрела на Мравина. Он сразу заметил в ней какую-то перемену, вызвавшую в нем тень подсознательной жалости к ней.

— Садитесь, Эльна... Сегодня нам предстоит большая, тяжелая работа. Понимаете, сегодня я пишу душу портрета. Сложность и многогранность души отражается только в глазах. Как много глубины таят они в себе. Им, и только им, мы отдаем все наши лучшие мечты. Сегодня вы должны представить себе, что вы полюбили человека и по каким то причинам, вам неизвестным причинам, потеряли его, — говорил Мравин, отыскивая правильный наклон головы, и теплыми руками касаясь лица Эльны.

— Вот так... Чуть чуть голову подымите... Отлично... замрите...

Сеанс был долгий и капризный. Мравин несколько раз откладывал в сторону кисти, молча ходил по комнате, подходил к Эльне, менял положение ее головы, что-то доказывал ей и наконец

затих в долгой, без перерыва работе. Эльна изнемогала от усталости, но он как будто этого не замечал.

— Свершилось! . . . Конец! — сказал он, откладывая в сторону палитру и кисти.

Он отошел в глубину комнаты и воскликнул: — Эльна! Вы совершили чудо. Посмотрите в эти глаза. Как бесподобно отразилась в них мысль обреченной неизбежности. Они живые, понимаете, живые . . . Все умрет, а они будут жить.

Эльна радостно подбежала к портрету. Момент, и бархатная тьма синих глаз блондинки встретилась с горящими ревностью глазами натурщицы.

— Я была слепая . . . Теперь я все поняла, — сдерживая слезы, сказала Эльна.

Она схватила пальто и шляпу и, настежь открыв дверь, выбежала из комнаты. До сознания Мравина не дошли слова и уход Эльны. Он в оцепенении стоял перед портретом Ванды, поглощенный сложностью охвативших его переживаний. Он вдруг почувствовал, что острота душевной боли оставила его, она вылилась в портрете.

Через три дня, щедро оплатив труд профессора и Эльны, Мравин уехал в Париж.

* *

*

Ванда была второй месяц беременна. Она была счастлива, и мысли ее обнимали преддверие чего-то большого, красивого, что очистит ее грех и спасет жизнь. Она уже давно решила сказать мужу о своей беременности, но откладывала этот разговор, и все больше и больше тяготилась ложью создавшегося положения. Что удерживало ее от разговора с Ромуальдом? Только боязнь, что он не

поймет ее. Перед ней никогда не вставал вопрос последствий, ожидавших ее после разговора с мужем. Она была готова к ним, но внимание и баловство Ромуальда уже приносили ей не радость, как раньше, а невыносимую боль, и она все острее чувствовала мучительность своего положения. Ее сердце уже билось счастьем матери, а само счастье было каким-то больным, и она твердо знала, что оно будет больным до тех пор, пока она не скажет все мужу.

После бессонной ночи, она встала с тяжелой головой и решила поговорить с мужем сегодня, сейчас же. Она позвонила. Вошла Аленья.

— Доброе утро, барыня.

— Аленья, передайте барину, что я хочу до отъезда видеть его.

— Барин уехал по срочным делам и просил доложить вам, что вернется к вечеру.

— Хорошо. Подавайте завтрак. Я сейчас спущусь.

Узнав об отъезде мужа, Ванда в растерянности стояла посреди комнаты. Ее прекрасное лицо подернулось дымкой грусти, а мысли снова побежали по тому же заколдованному кругу, отнимавшему у нее полноту счастья.

— Не могу больше... Не могу лгать, притворяться. Пусть будет вечером, — вслух сказала она.

Целый день Ванда провела в какой-то тревожной озабоченности. Временами она чувствовала себя приниженной, виновной в своем сознательном обмане. Но это были только мгновения сомнений. Она сразу находила себе оправдание, и ее только тревожил вопрос, сумеет ли Ромуальд правильно понять ее.

— Конечно нет... Мужчина не может понять этого, — отвечала она за него, и ей во всем ужасе представлялся предстоящий разговор.

— Игорь ушел... Я этого сама хотела. Я мучаюсь, что оскорбила его, но я не могла поступить иначе. Я считала нечестным оставить Ромуальда, а сейчас считаю нечестным оставаться с ним. Жить и все время чувствовать великодушные обманутого мужа выше моих сил. Это значит дать ему право не верить мне, всегда подозревать меня. Но он же должен понять, что я... — Она не сказала, что должен понять Ромуальд. Слова застыли у нее на губах, мысль растаяла, сомнения овладели мозгом.

Подошел вечер. За лесистые холмы пряталось солнце, все время меняя краски уходящего дня. Ванда неподвижно сидела в беседке и смотрела на вьющуюся по полю дорогу, по которой должен вернуться Ромуальд. Она каждую минуту ждала его возвращения, и томительная тяжесть ожидания рождала новые мысли и слова.

— Я должна сказать, должна ради тебя, — вслух сказала она, положив руки на живот. Сияние счастья отразилось на ее лице.

— Пусть презрение мужа, презрение людей... Но этого счастья я не отдам никому... Оно мое...

Вдали показались взлетающие вверх клубы пыли, послышался конский топот, в ворота въехал знакомый экипаж. Ванда вздрогнула и испуганными глазами следила за мужем, идущим по дорожке в сторону беседки. Она пыталась встать, но почувствовала, что силы оставляют ее. В изнеможении она опустила голову и посмотрела на Ро-

муальда только тогда, когда он вплотную подошел к ней. Ромуальд обнял жену и поцеловал в щеку.

— Прости, утром уехал не повидав тебя. Не хотел тревожить твой сон. Что с тобой? Опять чем то расстроена? Что случилось? Нездорова?

— Нет, я здорова. Я ждала тебя весь день. Мне надо говорить с тобой. Я больше ждать не могу и не хочу.

— Конечно . . . конечно . . . Я только умоюсь с пыльной дороги. Ты где будешь?

— В кабинете.

— Отлично.

Ромуальд поднялся наверх в свою комнату, а Ванда прошла в кабинет и, не зажигая огня, опустилась в глубокое кресло перед письменным столом. Сиреневые сумерки вечера смотрели в окна и освещали комнату серо фиолетовым холодным подсветом. Ванда почувствовала нервный озноб в теле и съежилась в кресле. Монотонно и размеренно тикали большие настенные часы. Они пробили восемь, и каждый удар болью отзывался в сердце Ванды. В кабинет вошел Ромуальд.

— Прости, что долго задержал тебя. Люблю с дороги переодеться, умыться и через это омоложение отряхнуть заботы ушедшего дня, — сказал Ромуальд, оставляя за собой след свежести крепкого мужского одеколona. Он сел в кресло, зажег настольную лампу и взглянул на жену.

— Твой вид мне не нравится. Ты нездорова, — участливо спросил он.

Ванда вместо ответа отрицательно покачала головой.

— Между прочим, сейчас только от Мравина. Случайно заехал к нему. Думал откупить у него

небольшой участок земли, там где я предполагаю строить новый спиртовой завод. Ты знаешь, где крутой спуск к реке. И что-же ты думаешь? Имение продал тому же Булинскому, которому переплатил при покупке, а сам укатил в Европу. Как тебе это нравится? Неуравновешенный, горячий, странный человек.

Ванда чувствовала, как кровь отлила от ее лица. Неожиданный оборот разговора спутал ее мысли. Несмотря на то, что она была готова к разговору, она сейчас потерялась и не знала с чего начать. Несколько раз она пыталась говорить, но останавливалась. Молчание становилось тягостным для обоих, и через это молчание жены Ромуальд почувствовал, что к его жизни вплотную подошло что то страшное, угрожающее.

Ромуальд, — тихо, не подымая головы, начала Ванда. — Жизнь часто вынуждает нас искать выхода из создавшегося положения, и я прежде всего хочу чтобы в настоящем, тяжелом для нас обоих разговоре, вы нашли в себе чуткость правильно понять меня. Понять, это — простить.

Ванда остановилась, и последние слова ее потонули в долгом молчании.

— Я боюсь, что угадываю ваши мысли... Вы решили оставить меня?

— Я изменила вам.

— Я не верю... Скажите, что это не правда.

Я сказала правду... Я беременна... Я знаю, я преступная жена. Но я не умею лгать... Я честная...

— Каждый понимает честность по своему.

— Мне ничего не стоило скрыть от вас мою беременность. Уехать куда нибудь за границу, на

ваши деньги сделать операцию и вернуться к вам все той же верной женой. Я избрала путь правды. И только она одна дает мне право говорить с вами. Конечно, в вашем представлении я сейчас падшая, грязная женщина. Ваше право уважать во мне прошлое и презирать настоящее. Вы можете выгнать меня, как неверную жену, и мне ничего не надо. Я только прошу вас правильно понять меня.

Ванда остановилась, ожидая возражений мужа. Ромуальд молчал.

— Вы деньгами спасли честь моего отца. Я заплатила вам за его честь своей жизнью. Я честно пошла за вами, но что могла понимать девятнадцатилетняя девочка.

Ванда повернула голову в сторону мужа. Он неподвижно сидел, охватив руками голову. Его лицо сделалось землисто серым. Опущенные глаза, прикрытые тяжелыми веками, скрывали его переживания.

— Я засветилась счастьем. Но оно было слишком коротким. Вы сами знаете, что за последние годы мы стали жить только одной половиной законов семейной жизни, вторая завяла. Я пыталась спасти нашу жизнь проснувшимся инстинктом матери. Я хотела иметь ребенка, но было уже поздно. Я поняла, что не могу иметь его от вас. Я ласкала чужих детей, и они, теплые, нежные, будили во мне ненасытную жажду материнства. Поймите, мне нечем было жить. В ребенке я видела спасение нашей жизни, ее чистоту, ее цель. Двусмысленные намеки ваших ближайших друзей, не щадивших вашей старости, приносили мне невероятную боль и страдание за вас. Не знаю, правильно или неправильно, но я сама пришла к ре-

шению иметь ребенка. С кем я могла посоветоваться?! С вами? Ваше мужское самолюбие никогда не позволило бы вам понять меня. Я долго мучилась, и наконец встретила человека в порядочности которого нельзя было сомневаться. Я поняла теперь, что я обманывала себя. Когда мое сердце билось, я думала, что оно бьется от близости выполнения моего плана. Но это было не так. Это была любовь. Я полюбила его. И этим я виновна перед вами. Я совершила грех измены мужу. Да, я изменила вам, но честь имени вашего не запятнана. Во имя этого, я не только рассталась с ним, но я оскорбила его, чтобы он не искал больше встреч со мной. Я понимаю, вам больно слушать эти слова, но я не умею лгать. Я сознательно пошла на шаг измены. Я в нем не раскаиваюсь. Я буду иметь ребенка. Ради вашей жизни я разбила жизнь человека, полюбившего меня. Я никогда в жизни его не увижу. Он никогда не будет знать, что он отец моего ребенка.

— Д о в о л ь н о ! Вы очень великодушны, сообщая обманутому мужу подробности ваших переживаний и вашей измены, но вы забыли упомянуть его имя, — жестко сказал Ромуальд, с ненавистью глядя в глаза жены.

— Вы никогда его не узнаете.

— Я требую.

— По какому праву?

— По праву обманутого мужа, — зычным голосом выкрикнул Ромуальд, вставая со стула.

— Убавьте тон, граф . . . Прислуга может услышать, и помните, что нет той силы, которая могла бы заставить меня назвать его имя. Оно для меня святое.

— И вы могли вообразить, что я дам мое имя ребенку какого-то проходимца?

— З а м о л ч и т е ! У вас есть право оскорблять меня, но нет права оскорблять моего ребенка.

— Этого никогда не будет . . .

— Последний раз умоляю вас, поймите меня . . .

— Никогда . . . никогда . . .

Ромуальд хлопнул дверью и вышел из комнаты. Ванда обессиленная опустилась в кресло. Тихие слезы скатывались по ее бледным щекам. Лицо ее выражало страдание и потерянность. Стенные часы начали свой хриплый бой. Ванда вздрогнула и услышала голос мужа, отдававшего приказ запрячь лошадей.

— Все кончено, — тихо сказала Ванда и, закрыв глаза, стала перебирать в памяти весь этот ужасный разговор.

— Ужасно то, что он не понял меня. Я чувствую, что он ударил меня по лицу. За что?



Ромуальд сел в открытый дышловой экипаж. Лошади, обогнув тихое озеро, дружно побежали по мягкой знакомой дороге и скоро свернули на шоссе, ведущее к железнодорожной станции. На землю упали поздние сумерки июля. Далеко кругом убегала вдаль цветущая долина, напоенная сладким дыханием клевера и полевых трав. На горизонте кровавым янтарем пылала вечерняя заря, окаймляя ярким пурпуром причудливое очертание сизых туч, ползущих из за леса. Кругом тишина и грусть гаснущего вечера. Фрр . . . фрр . . . прошестело в воздухе, и стая куропаток выпорхнула

из придорожной канавы и перелетела на полянку у дремлющих лоз кустарника.

— Куда прикажете ехать, барин? — повернувшись спросил кучер.

— П р я м о , — лакончно ответил Ромуальд.

Ответ хозяина не дал кучеру точного представления куда ехать, так как в широком шоссе с разных сторон, как притоки рек, вливались полевые дороги от спиртового и лесопильного заводов, от погрузочного полустанка, из имения Желтовских. Но Ромуальд и не мог дать другого ответа. Он сам не знал, куда и зачем он едет. Он только знал, что он должен ехать, что он не желает больше видеть жену. Сумрачный, он сидел в углу экипажа, низко опустив голову, и старался привести в порядок кипящие гневом мысли. Он искал законченный ответ... Что делать? Как поступить? Но мысли, свободные и властные не подчинялись ему. Они отравляли его мозг словами циничного признания жены и требовали от него немедленного решения. Они кипели негодованием, разжигали оскорбленное самолюбие, указывали пути возмездия и ни одна не звала его к прощению.

— Какой позор, — подумал он. — История повторяется. Неумолимый рок. Так было с отцом. Нет, было чище, честнее. Мать оставила отца. Ушла к новой жизни и непроницаемой тайной покрыла свой уход. Мое имя потонуло в сознательной грязи, в циничном использовании моего отсутствия. Ребенок... Она сама сказала. Своим признанием она растоптала сердце моей веры и вложила в грудь другое... сердце неверия. Я никогда в

жизни не смогу снова верить ей. Никогда не прощу ее.

— Никогда, — вслух сказал он.

— Что сказали, барин? На станцию? — спросил, нерасслышавший его слов, кучер.

— Прямо, — махнув рукой, ответил Ромуальд.

Это слово, сказанное в раздражении, вернуло его к сознанию, и он решил ехать к своему другу, холостяку помещику, в дальнее имение.

— Пересечешь полотно дороги. Свернешь в лес. Едем к Запольскому. Помнишь дорогу?

— Как не помнить? Не раз ездил, только не доехать однако. Глядите, что надвигается. Быть грозе. Скорее бы в лес укрыться.

Ромуальд поднял голову. Из за сумрачного черного леса ползли свинцовые валуны, покрывая небо траурной вуалью. Где-то далеко прогремел раскат грома. По тучам скользнул зигзаг молнии. Порыв ветра пригнул к земле созревшие хлеба, и они жалобно засвистели. Упали первые крупные капли дождя. Лошади, подгоняемые хлыстом, вбежали в цепкие объятия леса. Он злобно раскачивал свои могучие ветви, стонал, огрызался, что кто то посмел нарушить его торжественный покой. Над головой, одновременно с ослепительной молнией, раздался ужасный взрыв грома. Стихия неба и стихия земли схватились в мертвой схватке. Лес рычал, как дикий зверь, небо хохотало непрерывными раскатами грома и сквозь искры молний бросало вниз потоки ледяной воды. Обезумевшие кони рванулись в сторону и взяли на унос.

— Барин, помогайте... Разобьют окаянные... Одно слово — скотина...

Ромуальд вскочил, сзади прижался к кучеру и схватился за вожжи. Лошади, несколько раз подкинув вверх свои тяжелые крупы, неохотно перешли на широкую рысь.

— Барин, держите... Не давайте волю им. Опять подхватят. Ишь, как очумели. В монастыре укроемся. Тут недалече.

— Что ты чушь городишь. В каком монастыре?

— Знаю, что говорю. Скоро свернем налево. Только держите их.

При каждом новом раскате грома лошади шарахались в сторону, храпели. Ромуальд и кучер выбивались из последних сил. Молния вырвала из темноты белые здания монастыря в расщелине лесной пади. Лошади, почувствовав жилище, рванулись влево и помчались по узкой лесной дороге.

Тяжелый экипаж бросало из стороны в сторону. Не выдержав толчка, Ромуальд упал на сидение, почувствовав свободу лошади рванулись вперед и, на полном ходу, уперлись в тяжелые ворота монастыря. Ромуальд соскочил с коляски, нащупал ручку звонка. За воротами жалобно застонал колокол. Скоро послышались шлепающие по воде шаги.

— Кто там?

— Откройте... Заком... Граф Заком.

Послышался лязг ключей. Заскрежетал железный засов. Коляска въехала в открытые ворота монастыря Св. Августина.

— Сюда, сюда, под навес проезжайте, — повторял ключарь.

Лошади тяжело дышали и фыркали раздутыми ноздрями. На закрытый балкон вышел патер.

— Проходите сюда. Оставьте лошадей. Всех обогреем, накормим, успокоим, — говорил патер, беспрестанно вскидывая руки к рокочущему небу.

Ромуальд по воде прошел несколько шагов, тяжело поднялся на ступеньки и вошел на балкон. Вид его был ужасный. Мокрые седые волосы жидкими прядями свисали на лицо. По стертým от вожжей ладоням рук струилась алая кровь. Патер провел его в комнату, принес белье и сухую монашескую одежду. Он помог переодеться Ромуальду. Прибежал монастырский врач, промыл ранки, перевязал наиболее пострадавшую правую руку, и, видя безразличие ко всему Ромуальда, бесшумно удалился. Ромуальд опустилсá в жесткое кресло. Взор упал на статую Мадонны, освещенную голубым светом лампы, а мысли коснулись Ванды. Усталое лицо отразило муки душевной боли. Обессиленный, он закрыл глаза и низко опустил голову. Единственным его желанием было уснуть и ни о чем не думать. Он встал, направился к кровати, но в комнату вошли два услужливых монаха. Они принесли монастырскую пищу: чай, горячий хлеб и красное вино. Ромуальд поблагодарил их, проводил до двери и был рад их уходу. Он хотел остаться один, чтобы никто и ничто не мешало течению его мыслей. Он выпил чашку горячего чая с вином и решил лечь в кровать. В дверь послышался тихий стук и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел аббат Доминик, крупный мужчина с волевым лицом, сохранившим следы былой красоты и больших жизненных потрясений. Большие черные глаза, горящие внутренним огнем, остановились на бывшем школьном товарище.

— Здравствуй Роми!

— Альфред, здравствуй!

— Альфреда давно уже нет. Смиренный Доминик. Рад, что мой монастырь дал тебе приют в такую ужасную ночь. Слава Всевышнему! — кротко сказал он, благословляя Ромуальда.

— Как чувствуешь себя, сын мой? Болят руки? Доктор мне уже все доложил. Страшная ночь. Стихия. Как очутился в лесу?

Он пристально смотрел на Ромуальда, ожидая его ответа. Ромуальд молчал, и он внутренним чутьем понял, что душой Ромуальда владеет сейчас какая-то другая стихия. Перебирая четки, он с минуту помолчал. Явилась мысль, явились слова.

— Давно не виделись с тобой. Со школьной скамьи. Жизнь почти прошла. Разными путями идем. Я уже пять лет как переведен в этот монастырь и ни разу не видел тебя в храме. Я чувствовал твои добрые дела, но тебя не чувствовал. Вера без дела мертвая, но и добрые дела без веры тоже мертвы. И вот сегодня церковь сама позвала тебя. Почему позвала? Зачем позвала? Чтобы утешить тебя. Ты когда последний раз был на исповеди? Что же ты молчишь?

— Не помню... Лет пятнадцать, может больше...

— Как далеко ты ушел от Бога. Как трудно тебе Его видеть. Подойди ближе к нему. Открой Господу Богу двери сердца своего. Дай Ему коснуться твоих губ, чтобы они искренно признались Ему во всем, что бушует в твоей душе сейчас. Он услышит тебя, простит, поможет. Пойдем в костел.

Видя колебание Ромуальда и желая предотвратить его возможный отказ, он коснулся его руки

и тихо добавил: — Пойдем, как школьники, с открытым сердцем и душой. Помнишь, как ходили в Варшаве? Тогда ты звал меня, а сейчас я тебя. Зову не как школьный товарищ, а как твой духовный отец. Помню, я всегда любовался тобой, твоей глубокой и страстной молитвой...

Ромуальд, не проронив ни слова, встал. Они шли по тускло освещенному коридору и на стене вырисовывались две сначала неясные, а потом ставшие более резкими тени двух человек в монашеских рясах.

— Что это, — подумал Ромуальд. — Два монаха! Почему монахи? Разве я? .. ах да, ведь они мне дали монашескую рясу ... Который же я? Монах! Почему монах? Или Бог напоминает мне о моем долге ... о моем грехе? .. Почему о грехе?

Так в смятении и раздумьи Ромуальд в сопровождении аббата Доминика вошел в костел. По сторонам из ниш, встревоженные гулкими шагами по каменному полу, на них смиренно смотрели статуи святых. За престолом алтаря, с позолоты стены, украшенные тонкой резьбой, тихая Мадонна, освещенная спокойным светом неугасимой лампы, встречала их взглядом полным необъятной чистоты. Доминик на секунду преклонил колено перед престолом, подвел Ромуальда к исповедальне и сам зашел с противоположной стороны. Их разделяла деревянная перегородка с небольшим оконцем посередине, затянутым травяной сеткой плотной вязки. Ромуальд с минуту о чем то подумав, опустился на колени.

Dominus sit in corde tuo, in labiis tuis,
ut rite confitearis peccata tua. Amen.

— Я пришел сюда в момент великого духовного борения. Вся моя жизнь потеряна... Я провел долгую холостую жизнь и каюсь во всех ее ошибках и грехах. Я начал семейную жизнь пятидесяти одного года, а моей жене — 19. Она была единственная женщина которую я полюбил, в которую уверовал и которой верил. Десять лет наша жизнь шла дорогой цветущего счастья... Она обманула меня... изменила мне. Изменила сознательно, чтобы иметь ребенка и свой позор прикрыть моим именем... Хуже... Она использовала для своего обмана время моего отсутствия. Застань я ее на месте преступления я знал бы как поступить с неверной женой. А сейчас я только знаю, что никогда не прощу ее... Никогда...

— Роми, сын мой! Семейная жизнь — две чаши весов. Одна чаша мужа, другая — жены. Все люди разные, и все ходят по ошибкам и грехам. Что же держит равновесие их чаш жизни? Оставленный нам Богом величайший дар — «ПРОЩАТЬ». Ты положил на чашу жены все ее ошибки, ее тяжкий грех, и оставил свою чашу пустой. Кто нарушил равновесие весов жизни?.. Ты... Вспомни, сколько раз она прощала тебя. Найди в своей кипящей гневом душе то, что ты забыл положить на свою чашу. Положи на нее ее право быть матерью. Мог ты дать ей ребенка? Ты должен был знать что в твоей жизни, по твоей вине, когда-то наступит час возмездия. Он наступил. Но ты не знаешь, через какие муки она подошла к своему греху. Ты не представляешь, в какие муки ты поверг ее, лишив своего прощения. Ты не знаешь каким путем пришел сюда я. Это — рас-

каяние, что не простил. Она виновна, но виновен и ты.

«И прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас».

За перегородкой послышались сдержанные рыдания.

— Плачь, мой сын. Это слезы прощения. Они посланы тебе Богом. Этими слезами ты выплачешь из сердца гнев свой.

Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine

Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Amen.

Кончилась исповедь. Аббат Доминик подошел к Ромуальду и, глядя ему в глаза, тепло спросил: — Четки у тебя есть, Роми?

— Нет, — смущаясь ответил Ромуальд, опуская голову.

— Возьми мои. Я сорок лет не расставался с ними. Молись. Они тебя приблизят к Богу, — закончил Доминик, снимая с руки и передавая Ромуальду коричневые с желтым четки.

* * *

Ванда была рада отъезду мужа. Она не хотела видеть его, не хотела знать, куда и зачем он уехал, когда вернется, но мысль, что в их жизни нет больше лжи, давала ей известное успокоение. Но это кажущееся успокоение воспринималось только мыслями. Натянутые нервы шли другим путем, отрицающим покой и рождающим цепь новых сомнений. Она провела тяжелую ночь. Ее тревожили кошмарные сны, в которых вместе с ней куда-то бежали, что-то доказывали друг другу тени Ро-

муальда, Мравина и Щавинского. То радостная, то испуганная она просыпалась, старалась разгадать значение и смысл снов и снова обессиленная падала на подушку. Когда она проснулась утром, первое что пронизало ее усталый мозг, были слова вчерашнего разговора с мужем. Сейчас они показались ей ужасными, настолько ужасными, что она не могла ясно представить себе, как она решилась сказать их ему. Инстинктом женщины она знала, что муж не понял ее. Она этого боялась и к этому была готова. Но сейчас она вдруг почувствовала, что ее положение стало безвыходным и неопределенным. Впервые перед ней встал вопрос ее позора. Она раньше никогда о нем не думала, и вот теперь этот позор представлялся ей какой-то огромной тяжестью, до боли придавившей ее мысли и тело. Она сидела на кровати, сжимая руками виски, и стараясь освободиться от этой ужасной тяжести.

— Конечно, он больше не пожелает меня видеть, — вслух сказала она. — Это ясно показал вчерашний разговор. Пришлет письмо, предложит оставить дом. Это его право, и оспаривать его я не намерена. Укажет имя адвоката для дальнейших переговоров. Обычный прием для неверных жен. Мещанство, которого в подобных случаях мало кто может избежать, отстаивая свою честь и имя. Куда я поеду? К кому? Как буду смотреть в глаза знакомым, прислуге? — спрашивала она себя и не находила ответа на свои вопросы.

Аленя уже давно прислушивалась у двери, желая узнать, проснулась ли барыня. Услышав ее голос, она вошла в комнату. Ванда испуганно взглянула на нее. «Уже знает», — мелькнуло в мозгу.

Горничная извинилась, что вошла без разрешения, и передала Ванде письмо.

— Идите, Алень. Я оденусь сама. Через пол часа принесите мне кофе.

Горничная вышла, а Ванда, низко опустив голову, продолжала неподвижно сидеть в том же положении. Она сжимала в руке конверт и не решалась его распечатать. В этот короткий момент она презирала себя за малодушие, раньше ею никогда не испытываемое. Содрогнувшись всем телом, она быстро открыла конверт. Письмо было от соседки Желтовской с приглашением на ужин и карты. Ванда улыбнулась больной улыбкой, встала с кровати и направилась в ванну. Приняв горячую ванну, она вдруг почувствовала ужасную боль в обеих сторонах головы. Сжав руками виски, она несколько раз прошлась по комнате, встретила в зеркале с своей недоумевающей улыбкой и громко сказала: — Конечно поеду . . . Обязательно поеду. Мне нечего скрываться.

Горничная принесла кофе.

— Алень, к вечеру приготовьте мне серое платье. Ну, знаете, с желтой отделкой. Шляпу серую с чайными розами. Я еду к Желтовским.

Выпив кофе, Ванда вышла в сад. Солнечный день прозрачной чистотой встретил ее. Она дошла до озера, долго смотрела на свое отражение в воде, улыбнулась суетливой игре молодых уток и направилась в тенистую аллею. Она шла тихо, низко опустив голову. Отжившие листья шелестели под ногами, словно перелистывали страницы книги ее короткой жизни.

. . . Прозрачная, светлая юность. Кругом цветы . . . Вся жизнь цветы. Цветы школы, друзей,

первых увлечений... Петя Протасов... 16 лет... Дерзкие планы жизни. Звонящие созвучием хрустала чистые слова... мечты. Ошибка... Отец опустил, стал пить, играть в карты. Проиграл чужие деньги... позор. Граф Заком... опять цветы... Долг дочери... Отец спасен... Помолвка... Варшава... свадьба... Счастье, любовь, жизнь... Высокий Двор... охотничий домик... Корси... Италия... Смерть отца... Крах жизни... Мравин... измена... позор.

Ванда прислонилась к дереву. Она стояла вблизи охотничьего домика. Слезы катились из ее глаз. Она не пыталась их остановить. Они были о Мравине.

— Игорь! Прости, — простила она. — Если бы ты чувствовал, как мне тяжело. Ты вправе считать меня скверной, преступной, подлой женщиной, но я избрала тебя, потому что полюбила. Мне нужен был ребенок. Ты спас меня. Дал мне новую жизнь. Она сейчас бьется у меня под сердцем. Я всю себя отдаю твоему ребенку. Я буду верна тебе. Пойми, я не могла оставить Ромуальда. Я стремилась найти оправдание своей жизни, стремилась полюбить в нем человека, потому что он уже не мог любить меня, как жену. Я поняла, что только ребенок спасет меня. Ты дал мне его. Не презирай меня. Я честная. Я все сказала мужу. Я не искала его прощения. Я не открыла ему твоего имени. Оно принадлежит мне. Оно самая светлая звезда в моей жизни. Она погаснет, когда я умру. Прости меня.

Ванда испуганно оглянулась по сторонам и быстрыми шагами направилась к дому. Ей казалось, что кто-то скрывается между деревьев и подслу-

шивает ее. Она вошла в свою комнату, взглянула в зеркало и ужаснулась своему осунувшемуся лицу и заплаканным глазам.

— Как я изменилась за одну ночь. Боже! Как ужасно тяжелы ночи неизвестности. Я сейчас на распутьи... Никакого распутья. Все кончено. Я должна уехать. Он оскорбил моего ребенка. Чего я жду? Новых оскорблений? Разве мужчина-собственник может понять и простить? Он всегда будет прав, и все будут считать правым его и клеймить печатью позора меня. Я ни в чем не считаю себя виновной.

Она решительно подошла к шифоньеру, маленьким ключом открыла ящик. Блеском разноцветных огней засмеялись драгоценные камни. Она порылась в ящике, вынула брошку, серьги и кулон, оставшиеся от матери, и ключом закрыла ящик. Огни камней потухли. Она взяла небольшой чемодан и стала укладывать в него белье. Закончив с бельем, она тщательно уложила в большой чемодан несколько платьев, легкое пальто и какую-то ненужную мелочь, попавшуюся под руки.

— Но я так и не решила, куда я еду? Она на минуту задумалась, и вдруг ее глаза отразили радость, большую радость.

— Глупая! Что же я думаю. Поеду к Ирине в Москву. Школьная подруга. Она любит меня, будет рада, поймет. А вдруг не поймет? Осудит. Послать телеграмму? Зачем? Приеду и все расскажу.

Она села за письменный стол и написала письмо Ромуальду, положила в конверт ключ и запечатала письмо. Машинально поправив волосы, она вышла из комнаты. Лицо ее отражало непоколе-

бимую решимость, которая однако не могла скрыть ее волнения.

— Как несуразно окончена жизнь. Как я несчастна, — подумала она, спускаясь по ступенькам лестницы. Вдруг, под влиянием какой-то мысли она остановилась. Лицо засветилось далекой тихой радостью. Она руками коснулась живота и чуть слышно прошептала: — Мое счастье! Моя жизнь! ради тебя я готова на любой позор.

Она вошла в кабинет Ромуальда, положила на стол письмо и позвонила. Вошла Аленья.

— Вы звонили, барыня?

— Да, Аленья. Попросите ко мне Игната.

Аленья вышла из комнаты. Ванда взяла лист бумаги, крупными буквами четко написала адрес Ирины Туркестановой, достала из сумочки пачку денег и, охватив руками голову, задумалась. Мысли бежали в далекое прошлое, в Бекетовку, к отцу. Вошел Игнат.

— Вы звали меня, барыня?

— Здравствуйте Игнат. Садитесь. Отец взял с меня слово, что я никогда не оставлю вас.

— Царство им небесное. Хороший барин были.

— Я уезжаю, Игнат. Совсем уезжаю. Вот здесь мой адрес и немного денег. Если будет тяжело, приезжайте ко мне. Адрес, который я вам даю, никто не должен знать. Понимаете?

— Как не понять. Все будет исполнено в секрете. А вот деньги, барыня, оставьте при себе. Мне так сдается, что они вам будут нужнее.

Ванда, не сказав ни слова, низко опустила голову. Игнат потоптался на месте, на край стола положил деньги и тихо вышел из комнаты.

В 9 часов вечера Ванда навсегда оставила Бысокий Двор. Прибыв в Варшаву, она не поехала в родовой замок Ромуальда, в Лозенках. Она боялась встретить в нем мужа и остановилась в отеле. Она пошла сделать кое-какие покупки и перевести деньги в Москву. Войдя в банк, она лицом к лицу встретилась с лучшим другом Ромуальда, Леопольдом Браницким.

— Графиня, какой счастливый ветер привел вас в наши палестины? Здравствуйте, здравствуйте. Надолго?

— Я проездом, на два дня.

— Конечно в Европу? Опять в Европу? Счастливая Европа. А вы, графиня, попрежнему буйно цветете. Печать прожитых лет не коснулась прелести вашего цветения. Только пора бы цвести цветами семьи. Я не раз говорил Ромуальду. Кстати, где он? Здоров?

— Муж в имении. Сейчас страдная пора. Вы простите меня, Леопольд. Я спешу.

— Не смею задерживать. Может быть вам нужна помощь? Расчитывайте на меня.

— Вы, как всегда, любезны. Спасибо.

— Скоро вернетесь?

— Еще не знаю, не решила, — скороговоркой сказала Ванда, протягивая руку Браницкому.

— До скорого свидания. Варшава с нетерпением будет ждать вашего возвращения, — сказал Леопольд, целуя руку Ванды.

Утром следующего дня Ванда выехала в Москву. Она была рада отъезду из Варшавы. Ей казалось, что все знакомые, с которыми она случайно встречалась, как-то подозрительно смотрят на нее и уже все знают. Это ужасно тяготило ее и

она успокоилась только тогда, когда застучали колеса поезда, уносящие ее в неизвестность.

.

Протяжный гудок паровоза, возвещая о своем благополучном прибытии, прорезал утренний подмосковный воздух. Варшавский экспресс, захлебываясь тяжелым дыханием бега, гремя железом колес, в клубах пара на полном ходу врезался в дебаркадер Александровского вокзала. Суетливо озабоченные пассажиры торопливо покидали душевные вагоны и исчезали в толпе встречающих. Ванда на минуту задержалась на ступеньке вагона и, оглядывая колыхающееся море людской правды и лжи, радостей и печалей, остро почувствовала свое одиночество и впервые усумнилась в правильности своего поступка — приезда к Ирине Туркестановой.

— Жизнь так меняет людей, — подумала она. — Найду ли я в ней прежнюю подругу? Поймет ли она меня? Как к моему приезду отнесется Петр Туркестанов? Он так мало знает меня.

— Могу ли я быть чемнибудь полезен вам? — спросил стройный офицер в красной железнодорожного ведомства фуражке, оборвав тревожные мысли Ванды.

— Вы очень любезны. Спасибо.

Он помог ей сойти с ступеньки вагона, снял ее небольшой чемодан, справился, нет ли у нее багажа, усадил в мягкую пролетку лихача и, взявши под козырек, с улыбкой сказал: — Салют Москвы — прекрасной женщине.

Ванда озарила незнакомца грустью усталых глаз. Укутанный в вату лихач натянул вожжи. Серый в яблоках конь наострил уши. Экипаж по-

плыл по мостовой. Равномерное цоканье подков отбивало секунды жизни. Экипаж остановился на углу Георгиевского переулка и Малой Дмитровки. Ванда коснулась маленькой кнопки звонка. Дверь открыла Ирина.

— Ванда! Милая! Моя красавица! Приехала! Какими судьбами?! Ничего не писала и вдруг приехала. Какая радость, — торопливо говорила Ирина, обнимая и целуя Ванду.

— Ты понимаешь, все последнее время я чувствовала, что стою у грани большого счастья. И вот мое счастье пришло. Ты даже представить себе не можешь, как ты нужна мне. Ведь счастье, так же как горе никогда не приходит одно. Мы живем цепью счастья или цепью горя. Нет, я не могу. Я должна сейчас же сказать тебе все. Я беременна.

— Правда? Я тоже.

— Ты на каком месяце?

— Пошел второй.

— Второй. Я тоже на втором.

— Ты хочешь девочку? Мальчика? Я девочку.

— Я хочу ребенка.

Две женщины смотрели друг другу в восторженные, влажные от слез счастья, глаза. Они светились неизведанным и прекрасным счастьем матери, и маленькая передняя сверкала блестками их радостно тревожных мыслей и слов.

— Теперь ты понимаешь, как мы нужны друг другу. Недаром я чувствовала, что должно случиться что-то большое.

— Оно случилось, — упавшим голосом сказала Ванда.

— Ты пугаешь меня. Какиенибудь неприятности?

— Я приехала к тебе совсем. И кажется неудачно. Вы куда-то уезжаете? Этот беспорядок, чемоданы, сундуки...

— Мы едем в Сибирь в Иркутск. Петр получил большое назначение по горному ведомству. Но это же ничего не меняет. Ты поедешь с нами.

— Все это так сложно. Мне так много надо тебе сказать, а тебе так много надо понять. Потом, я совершенно не знаю, как к моему приезду отнесется твой муж.

— Петр? Неужели ты забыла его необыкновенную доброту?

— Доброта—добротой, а принципы—принципом. Я оставила Ромуальда.

— Я не верю. Не может быть.

— И я не знаю, как Петр отнесется к вынужденному укрыванию неверной жены.

— Пойдем, пойдем в мою комнату. Она еще не разгромлена дорожной укладкой. Я прикажу дать нам завтрак туда. Хорошо?

В долгих, тихих, никого не обличающих словах, Ванда читала подруге книгу своей жизни. Главы счастья и главы горя. Ванда категорически отказалась от посредничества Ирины и решила сама говорить с Петром Туркестановым. Через 10 дней Туркестановы и Ванда выехали в Иркутск.

* *
*

Чисто и протяжно пел песню утренней зари монастырский колокол, эхом откликаясь в лесу. Ромуальд быстро оделся и пошел в костел. Шла пер-

вая месса. Словно шелест ветра откуда-то доносился тихий звук органа. По сторонам полусонно щурились огоньки свечей, и к небу облаками прозрачного тумана перед алтарем поднимался легкий дым ароматного ладана. Служил аббат Доминик. Ромуальд опустился на колени, склонил голову и быстро стал перебирать четки. Где-то незримо, чуть слышно, пел хор, и песнь молитвы до краев заливала его сердце сладостью прощения. Кончилась служба. Он простился с монастырем и выехал в свое имение. Он так же сидел в углу экипажа, только мысли были другие, ясные и чистые, как голубое небо над лесом. И лес, умытый вчерашней грозой, улыбался ему серебром и яркой прозеленью своей листвы. И птица мелкая, испуганно спорхнувшая с куста, провожала его звонкой радостной песнью.

В имении он встретил первым камердинера Рафаила.

— Здравствуйте, Рафаил. Барыня у себя?

— Барыня уехала.

— Как уехала? Когда уехала?

— Вечером, на другой день после вашего отъезда.

— Куда уехала?

— Ничего не сказали. Надо полагать в Варшаву.

— Хорошо. Приготовьте мой дорожный чемодан. Попросите ко мне Аленю.

Желая скрыть от слуги охватившее его волнение, он резко повернулся и направился в кабинет. Подойдя к письменному столу, он заметил небольшой серый конверт, лежащий в стороне от бумаг. Сердце защемила безотчетная тревога чего

то недоброго. Он тяжело опустился в кресло и осторожно, как бы боясь чего то, распечатал конверт. На стол упала маленькая связка знакомых ключей.

«Ромуальд!

Свершилось то, чего я больше всего боялась. Понять — это простить. Вы не поняли меня и уже никогда в жизни не поймете. Я оставила вас. Не пытайтесь вернуть меня. Поздно.

Ванда».

Минуту Ромуальд сидел как окаменелый. Остановившиеся стеклянные глаза смотрели в одну точку маленького листа бумаги, черной завесой застилавшего его глаза, онемелые мысли. Мозг безжалостно било сознание потери жизни, солнца, воздуха, света. Он напрягал последнюю волю чтобы оторваться от этих ужасных строчек, и не мог. Они поглотили его, вернули его сознание к последнему разговору с женой, и мысли прощения, с которыми он вернулся, потонули в муках неутешного горя. Из этого состояния его вывела вошедшая Аленья.

— Здравствуйте, барин! С приездом. Вы звали меня?

Первый момент он не мог вспомнить, зачем он звал Аленью. И потом, словно освобождаясь от какого то кошмарного забытья, громко спросил: — Барыня не сказала, куда уехала и когда вернется?

— Нет, барин. Барыня уехала с маленьким чемоданом, и я думаю, как обычно, на несколько дней в Варшаву.

— В Варшаву? Хорошо, идите.

— Вы когда будете кушать, барин?
— Кушать? Не надо ничего, я в поезде поем.
Вы не знаете, где сейчас управляющий?

— Все на заливных лугах. Косить начали сегодня.

— А разве вас не задела гроза? Траве надо дать просохнуть.

— Стороной прошла. Желтовские господа сильно пострадали. Молния в конюшню ударила, лошадей покалечила. Пожар затушили.

— Прикажите мне оседлать коня. На покос поеду.

Поездка на покос, разговор с управляющим, непродолжительный визит к Желтовским, все это было искусственной ширмой, отгораживающей людей от его размолвки с женой, и ее внезапного отъезда. Он едва дождался вечера и с твердой уверенностью что застанет Ванду в Лозенках, выехал в Варшаву. В своих предположениях он ошибся. Ванда в Лозенки не приезжала. Он не знал, что ему делать, с чего и как начать дальнейшие поиски жены. Духовно опустошенный, потерянный, он решил посоветоваться с лучшим своим другом, Леопольдом Браницким. Зная нерушимый распорядок его дня, Ромуальд, не предупреждая, в 12 часов дня приехал к нему на завтрак.

— Кого я вижу, Ромуальд! Какими судьбами? Только вчера видел твою жену, и она сказала мне, что ты в имении.

— Ты видел Ванду? Где она?

— Укатила в Европу.

— Куда?

— Я говорю, в Европу.

— Нет, ты меня не понимаешь. Куда именно?

— Ну, батенька, Европа большая. Ты муж, ты должен знать. Я встретил ее в банке. Предложил свои услуги. Отказалась. Простите говорит, тороплюсь. А ты сам знаешь, что можно узнать от женщины когда она торопится. Определенно знаю, что уехала в Европу. Сама сказала, а этого достаточно. Ну, пойдем, пойдем. Завтрак уже на столе.

Они вошли в столовую и сели за овальный стол, уставленный закусками.

— А ты что такой смуглый сегодня? Весь почернел. Случилось чтонибудь? Нелады с женой? — спросил Браницкий, пристально глядя на Ромуальда.

— Пустяки. Повздорили немного.

— А немного, так нечего киснуть. Необходимая накипь жизни. Перебурлит, перекипит и снова успокоится. Все завидуют твоему счастью. Иметь такую жену! Правда, многие осуждают, что нет ребят, и я первый среди них. Дети — это цемент жизни, в особенности при вашей разнице лет. Ну, да это ваше дело. Надолго в Варшаве?

— Сегодня обратно. Полевые работы начались. Нужен свой глаз. Ты прости, я быстро закушу и прощусь с тобой. Еще надо успеть до отъезда кое какие дела сделать. Через пол часа друзья расстались.

Прошло три дня. Оформив все необходимые документы, Ромуальд выехал в Италию. Он был убежден, что Ванда находится у стариков Корси. Он полностью отрицал мысль, что после всего происшедшего, она могла поехать куданибудь на курорт. — Значит, поехала к Корси, — подумал он и непоколебимая уверенность, что он найдет Ванду там, заливала все его существо. Он не знал ка-

кие слова будет говорить ей, он только ощущал, что мрак ужасной ночи признания растворится в свете прощения, и что снова засияет солнце жизни.

Старики Корси радушно встретили его, искренно обрадовались его внезапному приезду, но при первых расспросах о Ванде Ромуальд понял, что жизнь еще раз солгала ему. Он ясно почувствовал, что жизнь требует от него лжи. И он лгал, потому что боялся правды. Он понял, что чем дольше он будет находиться здесь, тем дольше будет лгать, потому что правда принадлежит только ему и жене. Учитывая ложность своего положения, он осторожно заикнулся о срочных делах в Риме и о своем отъезде. Но теплые старички непустили его и уговорили выехать завтра с вечерним поездом.

Наступило завтра. Ужасное завтра 19-го июля 1914 года. Германия объявила войну России. Учитывая трудность возвращения на родину и не сомневаясь в том, что Польша явится первым объектом войны, Ромуальд срочно выехал в Рим, в русское посольство.

В жизни человека чередуются радости и горести. И никто не знает, когда вянут цветы радостей и колют шипы горя. Острые шипы впились в тело, в душу, в мозг Ромуальда, но жестокой жизни очевидно было мало. Садясь в поезд, он поскользнулся, упал и сломал ногу. Его привезли в госпиталь.

* *
*

Точно рассчитанный провокационный выстрел в Сараево тревожным эхом откликнулся во всем мире. Мгновение бесконтрольного психоза, и мир

сошел с ума. Он превратился в огромную шахматную доску, на которой вступившие в бессмысленную и ничем неоправдываемую войну страны торопливо расставляли свои фигуры — орудия смерти. В разных направлениях задвигались миллионы пешек пехоты, железом загромыхали туры смертоносной артиллерии, в морские пучины затонули заградительные мины и подводные лодки, на защиту родных рубежей первой мчалась храбрая обезумевшая конница, с четким заданием нарушить планы противника и ценою смерти вырвать из его рук первоначальную инициативу войны.

Мир вступил в последнюю в истории человечества рыцарскую войну. Императорские и королевские дворы, президенты республик, правительства, парламенты, конгрессы, сенаты, верхние и нижние палаты, величайшие умы мира, народы, мужчины, женщины, старики, молодые, дети, все захлебывались могучими волнами национального патриотизма: в России — русского, в Германии — немецкого, в лоскутной монархии — австро-венгерского.

И никто точно не понимал истинной причины и цели войны. Никто не знал, что какая-то могучая, скрытая, никому неизвестная третья сила начала войну за уничтожение трех монархий, за насаждение рабских революций, за полное искоренение в мире остатков рыцарства и чести, за холодно рассчитанное уничтожение миллионов людей, отнимавших у матерей сыновей, у жен мужей, у детей отцов, подготавливая мир к торжеству бесчестия во всех его многообразных формах и видах.

Война застала Мравина в Париже. Он немедленно послал в Петербург телеграмму, испрашивая

разрешения вернуться в полк, и на другой день получил ответ от Андрея Борга.

«Поздравляю командира второго эскадрона.

Борг.»

Находясь в союзной Франции, Мравин не встретил препятствий со стороны французских властей к выезду. Дважды побывав в русском посольстве он, через десять дней, с известным риском ввиду быстро меняющейся на море и на суше обстановки, отбыл в столицу.

Блистательный Петербург встретил его необычным подъемом национального патриотизма. Он чувствовался во всех, во всем и везде, и мощным все возрастающим возбудителем его являлись сведения с фронта, то радостные о наших успехах, то горестные от временных неудач, и санитарные поезда с ранеными, прибывающие в столицу и днем, и ночью.

Через две недели Мравин явился в штаб армии в Варшаве. Последний направил его в штаб корпуса, где он получил краткие сведения обстановки на фронте.

Склонившись над мелкой полевой картой, начальник оперативного отдела сухо проговорил: — Пять дней тому назад немцы коротким ударом войск железной бригады, заняли небольшой район, тяготеющий к реке Ходорки, и укрепились на ключевой позиции у Высокого Двора.

— Высокий Двор? — переспросил Мравин.

— Да. Он занят немцами, и наша ближайшая задача вырвать его из рук противника. Мы ожидаем подхода сибирских стрелков. Их эшалоны завтра ожидаются в Варшаве. Более подробные сведения о местонахождении вашего полка вы по-

лучите в штабе дивизии. Желаю успеха. Досвидания.

Поздней темной ночью Мравин наконец добрался до фольварка, в котором стоял первый эскадрон Борга.

— Андрей, дорогой! Довольно спать. Принимай заморского гостя.

— Игорь, милый! Наконец то дождался тебя, — радостно ответил заспанный Борг, вскакивая с походной кровати. Друзья сочно обнялись. Денщик поставил на стол зажженную свечу и весело спросил: — Чайку прикажете срепетировать, ваше благородие?

— Какого чайку? Дашь вина. Возьмешь из обоза вторую походную кровать. Здесь поставишь для ротмистра. Вещи принесешь сюда.

— Слушаюсь, ваше благородие.

— Ну, здравствуй. Опять в полку. В хорошее время. Дай посмотреть на тебя. Все тот-же. Нисколько не изменился. Вот только новая морщина между бровей. Рано стариться начинаешь. Ну, садись, рассказывай как в Петербурге? Видел Наташу? Как она?

— Здорова. Держится молодцом. Привез тебе посылку. А как Заком? Где они? Ты помнишь, ведь Высокий Двор принадлежит им.

— Не знаю. Мы прибыли сюда, когда имение было уже занято немцами. Вероятнее всего уехали, но не исключена возможность, что захвачены в плен. Не знаю.

Всю долгую ночь друзья не сомкнули глаз. Говорили о жизни, высказывали предположения о длительности войны и ее конечном исходе, сошлись во мнении о подсознательной прелести ри-

ска. Мравин больше не подымал вопроса о судьбе Заком, но хорошо знавший друга Борг чувствовал, что все существо Мравина постепенно переполняется тревожными мыслями о Ванде. На рассвете друзья поехали в соседний фольварк, где стоял эскадрон Мравина. Он познакомился с людьми и остался доволен состоянием эскадрона. В полдень офицеры полка в веселой пирушке праздновали возвращение Мравина в полк.

Прошла неделя. Наступил час боевого крещения. Сибирские стрелки лобовой атакой выбили немцев из имения Высокий Двор. Императорская конница дерзкой атакой с флангов опрокинула и обратила в бегство расстроенного противника. Мравин со своим эскадроном, желая овладеть пулеметным гнездом противника, зарвался вперед и был тяжело ранен. Его принесли в охотничий домик. Ночью его в бессознательном состоянии переправили в Двинский военный госпиталь. По распоряжению командира полка Мравина сопровождал корнет Карсавин. Через пять дней Карсавин вернулся в полк. Он сразу прошел к Боргу.

— Миша здравствуй! Ну как? Как Игорь?

— Безнадежен. Врачи отказываются делать операцию, боясь за сердце. Приезжал из Москвы светило, хирург Маев. Тоже отказался. Ждут из Петербурга хирурга Лавровскую, личного друга их семьи. Я ничего не понимаю в медицине. Я только слышал, что задето сердце. Ведь три пули из пулемета и все в грудь. Вчера приехала в Двинск Наташа.

— Узнал ее?

— Нет.

— Бедный Игорь. Печально... Как же мне быть? Я должен исполнить его последнюю волю. Ведь мы на войне. Завтра я могу быть убит. Ты понимаешь, когда человек, умирая, говорит свою последнюю волю, она должна быть исполнена, — вставая сказал Борг.

Он несколько раз прошелся по комнате и словно найдя выход, подошел вплотную к Карсавину.

— Знаешь что? Если Заком не попали в плен, я больше чем уверен, что они в Варшаве. Я припоминаю, Игорь говорил мне, что у них в Варшаве есть какой то родовой замок. Я поговорю с командиром полка, и завтра ты должен будешь поехать в Варшаву, разыскать графиню Заком и передать ей мое письмо.

— Андрей! Не сердись на меня, но я приехал на фронт воевать, а не болтаться в тылу с какими то поручениями. Пошли когонибудь другого.

— Не горячись, Михаил. Война будет долгая и кровопролитная. Хватит на всех. И тебе еще не раз представится случай умереть за Родину. Я кроме тебя никому не могу доверить этого поручения и сам не могу покинуть эскадрон. Может быть завтра в дело.

Утром Карсавин выехал в Варшаву. Город был центром глубокого тыла, но в нем уже чувствовалось дыхание фронта. В тыл эвакуировались правительственные и городские учреждения, из тыла, день и ночь, прибывали свежие войска — сибирские и туркестанские стрелки. Только к вечеру второго дня Карсавину удалось узнать точный адрес графа Заком в Лозенках. Ранним утром он подъехал к решетчатым воротам замка графа Заком. Из сторожки вышел старичек.

— Здорово, старина! — весело приветствовал подошедшего Карсавин.

— Здравствуйте, барин.

— Да ты русский?

— Вестимо русский, коли родился в России. Игнатом меня звать. Садовник. А вот сейчас сторож у ворот, потому — война, и цветы ни к чему.

— Скажи милейший, это дом графа Заком?

— Их будет.

— Мне бы надо повидать барыню. Поручение у меня к ней есть.

— Правду сказать, дома никого нет. Барин поехал в Италию, может по делу какому, а то на воды лечиться. А тут война. Ну и застрял в этой Италии. Хорошо если с нами за одно воюет, а если супротив нас? А барыня неизвестно где.

— Как неизвестно? Попала в плен?

— А так. Оно хотя и известно, да неизвестно. Не велено говорить. А вам зачем барыню-то?

— Мне надо передать ей очень важное письмо.

— Письмо? Важное говорите.

— Послушай, старик. Ты нравишься мне. У тебя глаза хорошие. Им можно верить. Если ты возьмешься передать барыне письмо, только в секрете, я тебе хорошо заплачу.

— Денег я не возьму, потому барыню на руках вынчанчил. А вот что письмо важное, это главное.

— Так берешься доставить? Дашь честное слово?

— Мое честное слово, барин, — крест на груди. Коли не убьют, доставлю.

— Спасибо, старина, — тепло сказал Карсавин,

передавая Игнату письмо и сторублевую ассигнацию.

— Деньги, барин, отпишите на какой лазарет, али на церковь.

Карсавин возвращался в полк в хорошем настроении. Через случайную встречу с Игнатом он коснулся чего-то необыкновенно чистого. Он догнал полк уже на походе и спешил к Андрею, чтобы сообщить ему радостную новость о том, что выполнил его поручение. Он был сражен известием, что ротмистр Андрей Борг убит.

* *
*

Игорь Мравин в тяжелом состоянии был привезен в Двинский военный госпиталь. Его сопровождал корнет Карсавин. Он дождался приезда из Петербурга Наташи Борг и с неутешительными сведениями вернулся в полк. На другой день, после его отъезда, из столицы приехала Лавровская, известный хирург.

Двинский военный госпиталь, находясь в тылу, обслуживал большой участок фронта и фактически являлся передаточным распределительным пунктом, где тяжело раненым производились более сложные операции, каких нельзя было сделать в полевых госпиталях. С начала войны, после ожесточенных боев на границе восточной Пруссии, госпиталь жил нервной напряженной жизнью. Каждый день, каждый час в него вливались окровавленные волны раненых, волны человеческих страданий, волны жизни и смерти. И каждый день, каждый час скромные утомленные люди в белых халатах отдавали этим стонущим

волнам свою волю, ум, знания, время, здоровье. Раненых долго не задерживали в госпитале, и они, получив отсрочку на жизнь, растекались потоками горя и страданий по больницам и госпиталям Родины.

Война лучшая школа хирургии. Она дает ей потрясающие взлеты, открывает новые возможности, откровения, вынуждает к дерзаниям. На войне хирург встречается с беспредельно многогранной разновидностью ранений, далеко выходящих за пределы познания и опыта хирурга. В каждом отдельном случае, а их так много, и они такие разные, перед хирургом, в обстановке вынужденной необходимости, встает одна и та же проблема — «жизнь или смерть». Причем надвигающаяся смерть торопит его, отнимает время, нужное для детального изучения ранения, требует риска, через который хирургия обогащается новыми чудесами, каковых не дает ни школа, ни обстановка мирного времени.

Лавровская дважды проверила общее состояние Мравина, внимательно выслушала мнения врачей за и против операции, послала телеграмму московской знаменитости хирургу Маеву, и получила от него лаконический ответ: — «Если верите в чудо, делайте операцию. Желаю успеха. Маев».

Лавровская очень ценила Маева, долго думала над его ответом, в котором ясно подчеркивалась ее ответственность, и все же назначила операцию Мравина на пять часов утра следующего дня. Что побудило ее к этому решению? Ясное сознание того, что без операции Мравин все равно умрет, тогда как операция, вернее риск операции, еще таит в себе какой-то маленький шанс на жизнь.

Невероятно сложная и длительная операция прошла благополучно. Мравин, обманув мнения большинства врачей, остался жив. Но Лавровская, сотворившая чудо, и врачи ассистирующие ей, отлично понимали, что еще рано торжествовать победу жизни над смертью, что Мравин вступил в полосу невероятной борьбы за жизнь. Только сам Мравин, больше находившийся в бессознательном состоянии, этого не понимал. Через неделю Лавровская перевела его в частную больницу, поручила своему другу врачу и уехала в Петербург.

Мравин продолжал жить, но поправлялся настолько медленно, что угроза смерти все еще витала вокруг него. Лавровская каждый день получала сведения о состоянии здоровья Мравина, но она отлично понимала, что для того, чтобы завершить успех операции, она должна иметь его под постоянным наблюдением. Не считаясь с тяжелым состоянием Мравина, она перевезла его в Петербург и поместила в лазарет голландского посла Фан дер Пальса, в посольском особняке на Английском проспекте № 11, где она была старшим врачом.

Заботы трех женщин окружили жизнь больного Мравина. Но помимо общечеловеческих чувств сострадания, каждая женщина в свои заботы о нем вкладывала что-то свое, и это «свое» сияло разной жертвенностью, имея один возбудитель: — спасение жизни Мравина. Лавровская, не зараженная тщеславием, боролась за его жизнь, чтобы как-то оправдать перед самой собой риск сделанной операции. Наташа Борг, потерявшая на войне мужа, опрокинувшая своей волей законы психологии, лечила свое горе у кровати своего лучшего друга. Она встала сознательно на этот

жертвенный путь, отнимавший у нее все время и все силы. Нежная как весенний полевой цветок, юная голландочка, Нелли Нейшеллер, просиживала длинные ночи у кровати страданий незнакомого человека, вдруг ставшего ей близким и родным, открывшим ей новый, прекрасный смысл жизни. Необычайным теплом окружали Мравина Фан дер Пальс и преданный Лука.

Прошло восемь месяцев. Мравин значительно окреп. Стало очевидным для всех, что на этот раз смерть просчиталась. Она нехотя высвободила свои цепкие когти из больного тела Мравина. Его уже начали учить ходить, и чуткая Лавровская поручила это зацветающей Нелли.

Очень скоро, наблюдая повышенную нервность Мравина, Лавровская пришла к твердому убеждению отправить его для дальнейшего поправления на юг России, в его имение. Она решила увезти его из столицы, являющейся чутким барометром войны, все чаще и чаще показывающим ненастную погоду неудач на фронте и гаснущего патриотизма в столице.

Цветущим майским днем Мравин, Наташа Борг и Лука приехали в Темерево. Замелькали дни, побежали недели, потянулись месяцы. Родная земля, лазурь южного неба, трепетный шелест леса, тихий шопот пашен оказались сильнее больничного режима и бесконечных, ненавистных лекарств. Мравин быстро набирал потерянное здоровье, но чем сильнее он чувствовал прилив сил, тем больше страдал, что их недостаточно, чтобы вернуться на фронт.

Он впервые так ясно почувствовал, что духовно разбит, стар, и эта преждевременная старость

не позволяла ему бороться за оскорбленную честь Родины. Эти мысли не давали ему покоя ни днем, ни ночью и привели его к анализу прожитой жизни. И часто, встречаясь в зеркале с своим отражением, он спрашивал себя: — Что я такое? Какой вклад я внес в жизнь? Каков мой жизненный багаж? Что составляет мое внутреннее содержание? Да, жизнь прошла сумбурно. Торопилась бежать по ошибкам, — подумал он. — Я не сумел согреть заката жизни матери. Разве это не ужасно? Сын, единственный сын, не понял матери. Я сделал несчастной великую княжну. Я же знал, что не люблю ее. Но эгоизм желания нравиться, желания быть любимым, заставлял меня разжигать ее чувства и чувственность. Я поддался искушению и полюбил замужнюю женщину. Да, я люблю Ванду, и если бы она не оттолкнула меня, я дал бы ей яркую, счастливую жизнь. Что дал я ей сейчас? Семейный скандал. Возможный позор развода. Ночь счастья и жизнь горя. Что же было руководящим началом моей жизни, добро или зло? Конечно зло. Может быть несознательное, непродуманное, но зло. И только раз в жизни я честно платил долг своих ошибок. Я вел эскадрон на немецкие пулеметы. Я смотрел в глаза смерти. Момент, мелькнул образ Ванды. Все смешалось, завертелось, я куда то провалился. Сквозь серую сетку я на мгновение увидел лицо Андрея. Он склонился ко мне, я что то говорил ему. Не помню что... я умирал. И вот теперь я снова живу. Какая то таинственная неизвестная сила вернула мне жизнь. Зачем она мне ее оставила? Я должен, должен уплатить мой долг этой силе, людям.

Второй день Мравин был под гипнозом этих

мыслей. Он весь насыщен был исканием правды жизни. Он настолько изменился за последние дни, что встревоженная Наташа решила написать о его состоянии Лавровской, но прибывшая из Петербурга почта разрядила атмосферу. Казенный пакет извещал его, что он произведен в чин полковника, зачислен в свиту Его Величества и назначен военным атташэ при русском посольстве в Париже. Ему было предписано явиться в столицу, если позволяет состояние его здоровья. Радостные новости сразу изменили курс мыслей Мравина. Сознание, что он не забыт, что еще нужен, вернуло ему, утраченную за долгие месяцы болезни, энергию. И мысль, что жизнь дает ему новую возможность найти себя, найти свое назначение среди людей, стала ясной и выпуклой. Уговорив Наташу остаться в имении, он с Лукой выехал в Петербург и к концу октября они прибыли в союзный Париж.

Мравин с энтузиазмом отдался сложной и интересной работе в посольстве и все свободное время проводил на заводах своего предприятия. По контракту с Россией заводы работали по изготовлению бризантных снарядов для русской артиллерии. Его работа значительно увеличилась с прибытием в Париж русского экспедиционного корпуса. С этого момента личная жизнь Мравина оборвалась, потонула. Он весь был поглощен успехами, военной доблестью и храбростью русского солдата, бьющегося за спасение союзной Франции, и экспедиционный корпус сделался его семьей, которой он отдавал все время, здоровье, энергию и личные деньги.

Так прошел год. Для России война подождит-

лась вплотную к критической фазе конца 1916 года. С родины все чаще поступали неутешительные сведения, грозные и нагло бунтарские. И в мозгу Мравина никак не укладывалось то, что бунтарями были умные, образованные люди, являвшиеся еще так недавно олицетворением потрясающего патриотизма и верности престолу.

Подожел позорный 1917 год. По просторам России бушевал смерч революции. Все потонуло в крови народа-христианина: Бог, вера православная, Царь, честь, правда, совесть, культура. Обманутый русский народ взошел на Голгофу средневекового рабства, бесчеловечного, омерзительного, подлого. И молчала благородная союзная Франция. Молчал цивилизованный, утонченный мир. А жизнь бежала. И бежали, навсегда оставляя Родину, миллионы русских людей, отражая в зеркале бегства дьявольскую силу, строящую в угоду какой-то неизвестной силе свой мир, мир ужаса и бесправия.

Тяжело заболел Лука. Он давно уже недомогал, но крепился и не показывал виду. Его болезнь вывела Мравина из состояния подавленности, в котором он находился с момента революции. Он решил перевести Луку в лучший госпиталь, но старик упросил его этого не делать. Пришли маляры, выкрасили в белый цвет большую комнату наверху. Она стала веселой, светлой. В нее и перевели Луку. Он уже не вставал с кровати. Лучшие врачи пользовали его, и сам Мравин обязательно два, три раза в день навещал его. Он подолгу просиживал у кровати Луки, разговаривал с ним, и в редких ответах слуги читал книгу своей жизни и жизни своего отца.

Стоял теплый осенний день. Окончив работу в конторе, Мравин решил поехать на скачки. Раздался телефонный звонок.

Мравин. Кто говорит?

— Барин, Лука умирает. Просит вас приехать,
— взволнованно ответила горничная.

— Сейчас буду. Немедленно вызовите доктора.

Мравин вошел в комнату Луки и встретился с двумя страдальческими глазами, явно ожидавшими его, сейчас отразившими большую радость.

— Что старина? Как чувствуешь себя? Выглядишь молодцом, — преувеличенно бодро сказал Мравин, опускаясь на стул около кровати.

— Барин, простите, что потревожил... Отхожу... Надо спросить... Как же так, барин... Француз супротив нас слякоть, а у него родина есть... Франция. А у нас нет. Была Россия, а теперь какие-то буквы...

Мравин сделал попытку ответить Луке, но тот взглядом остановил его.

— Еще... Герман буквы назначил, али кто другой? Русский мужик темный. Он буквы сам не мог выдумать... Куды ему...

— Еще... А что же, барин, Россия вернется, али буквы навсегда останутся?

— Вернется, вернется, старик. Это временная накипь... Она перекипит и вернется Россия.

— Еще... А коли вернется, не страшно и помирать. Схороните меня в имении, подле липы... Она шуршать листьями будет, и я ровно живой...

Мравин, желая скрыть охватившую его тяжесть расставания с слугой, низко опустил голову и нервно рукой потирал лоб. Из под руки пада-

ли редкие слезы вплотную подошедшего сиротства.

— Е ще . . .

*
*
*

Туркестановы и Ванда, проехав центральную Россию, живописный Урал и необъятную Сибирь, приехали в Иркутск. Они сняли большой просторный дом с большим садом и, потихоньку и не торопясь, стали устраивать свою жизнь. Комнаты Ванды были наверху. Они были высокие, большие, светлые. Ванда очень скоро привыкла к ним и полюбила их, полюбила, потому что ее мысли, а их было так много, не упирались в потолок, не сжимались тисками стен. Как казалось Ванде, они тоннули в воздухе комнат и через широкие окна уходили в сад, прятались за иглы могучих кедров и гроздья оранжевой рябины.

Скрытная по натуре Ванда часами просиживала в саду, отдавала им свои мысли, потому что чувствовала, что они живые, чистые и понимают ее душу и переживания. Прошло два месяца. Ванда открыла студию музыки по классу рояля, и очень скоро имя новой преподавательницы, Ванды Пашкевич-Заком, заинтересовало музыкальные и общественные круги города. В больших городах, да и в мелких тоже, каждое вновь прибывшее лицо всегда вызывает интерес общества, и немудрено, что Ванда, молодая, красивая и обаятельная стала пользоваться повышенным интересом горожан.

— Кто такая? Откуда приехала? Зачем приехала? Замужем? Разведенная? Вдова? — Эти во-

просы задавались друг другу при каждом, где то ни будь, появлении Ванды. Бежала жизнь, и в лице Ванды все, с кем она встречалась, замечали выражение какой-то постоянной печали. Все недоумевали, и неразгаданная причина этой печали оставалась для всех загадкой, постепенно вылившейся в форму могучего возбудителя симпатий к этой загадочной, необыкновенной женщине. Что же было причиной скрываемой тревоги и озабоченности Ванды? Мысль о том, что у ее ребенка не будет отца. Чем ближе подходило время родов, тем чаще эта мысль овладевала ею и касалась Мравина.

— Зачем я оттолкнула Игоря? — думала она. — Жестоко оскорбила отца моего ребенка. Я этим убила его любовь ко мне. Он в праве презирать меня. А я даже не имею права искать его. Я сама отняла его у себя. О Ромуальде она старалась не вспоминать, считая себя морально свободной. Я умоляла его, и он не хотел понять меня. Больше того, он оскорбил моего ребенка, — отвечала она на свои мысли. И они замкнули сердце Ванды, и абсолютно исключали мысль о возможном примирении с Ромуальдом.

А жизнь заботилась сама о себе и естественным путем входила в определенные рамки, более или менее нормальные. Так течение жизни и привело двух подруг к счастливому моменту материнства. Первой родила девочку Ирина. Роды были исключительно тяжелые, и все опасались за жизнь ребенка и матери. Ванда заметно нервничала и боялась, что с ней тоже будет плохо, так как она все время находилась в ненормальном состоянии, то приподнято счастливым, то сильно подавленным.

Роды Ванды оказались легкими и вполне нормальными. Когда ей, измученной и ослабевшей, подали, завернутое во что-то, крошечное, жалобно пискнувшее создание, она, открыв глаза, вся затрепетала.

«Мальчик!» — услышала она слова акушерки.

«Мальчик!»... На Ванду из белой мягкой простыни смотрело знакомое лицо. Сходство с Мравиным было разительное.

— Игорь!.. Игорь!.. Ты должен бы быть сейчас здесь — прошептала она.

Она почувствовала, что сейчас Мравин простил бы ее. Ведь он... он стал сегодня отцом.

Скрипнула дверь палаты. Ванда резко повернула голову и вскрикнула — «Игорь!.. пришел». В палату вошел старший врач больницы. Ванда в изнеможении закрыла глаза, пораженная вихрем своих быстро несущихся мыслей.

Так дом на 2-й Солдатской зажил счастьем новой жизни. Счастье обоих матерей цвело яркими, но различными цветами. Ирина была полна счастьем материнства, спокойного и полного. Но сердце Ванды билось радостно, но порою болезненно тревожно. Только сейчас она вполне уяснила себе, что у мальчика, у ее сына, нет имени.

— Ведь он же Мравин, — думала она. — Почему я не могу назвать его именем его отца? А где отец? Что с ним сейчас? Может быть он на войне?.. Ранен? Боже мой, ведь он даже не знает, не подозревает, что он отец... что здесь, в этой комнате его сын, так на него похожий... И как я могу воспитать его без руководства отца? Мальчику необходимо мужское влияние, иначе он выйдет ненормально изнеженным, женственным. Кто

даст ему мужество, которого так много у Игоря? Ведь я никогда, никогда не выйду больше замуж... А что будет, когда ребенок, в свое время, задаст мне вопрос: — Где мой отец? Что с ним? Почему его нет со мной?.. Что я отвечу ему? Скажу, что отец умер... Опять ложь... на всю жизнь ложь. Как вынесу я это? Я не умею лгать... И у меня нет права сказать сыну правду.

Эти тяжелые мысли, которыми она не хотела делиться даже с Ириной, приносили ей невероятные мучения, и только маленький Раймонд, когда она прижимала его к себе, расплавлял горечь ее сомнений в беспредельно яркое счастье матери. С рождением сына вся жизнь, многогранная и сложная в ее положении, ушла куда-то далеко, и ее мысль редко касалась войны, Варшавы, Высокого Двора, Ромуальда.

После родов Ванда расцвела еще пышнее. Красавица и раньше, она стала ослепительно прекрасна. Она не могла не останавливать на себе внимание, в особенности мужчин. Но ее красота всегда была подчеркнута загадочностью выражения ее молодого лица, тайной грустью, холодностью, печатью как будто роковой обреченности. И, несмотря на поклонение мужчин, толпой окружавших ее, она ни на кого не обращала внимания.

— «Монашка в миру», — говорили о ней. Молодая, красивая, талантливая и повидимому свободная женщина не обращает внимания на многочисленных поклонников, как будто их нет. — Что за тайна? — недоумевали все, и чем больше недоумевали, тем больше старались разгадать ее. Но тайна так и оставалась тайной, и никто не мог разбудить к жизни усталое сердце Ванды. После

встречи с Мравинным оно было сковано обетом безбрачия. Эту тайну действительно монашеского подвига, знала только Ванда, отдававшая себя маленькому Раймонду.

В Иркутске, в городском театре, уже давно проводилась серия патриотических концертов, доходы с которых тратились на теплые белье и подарки солдатам на фронте. Они были очень популярны и в них, отдавая лепту войне, охотно принимали участие артисты оперы, драмы, музыканты, любители. Ванду много раз просили принять участие в концертах, но она, под тем или иным предлогом, всегда отказывалась. И вот как-то к ней приехал сам командующий войсками Иркутского военного округа. Он теплыми, простыми словами тронул сердце Ванды. Она согласилась, но взяла с генерала слово, что это будет ее первый и последний концерт.

— Генерал, это исключение я делаю только для вас. Но если в будущем меня будут, а я почти уверена, что будут просить еще раз, я вынуждена буду обратиться за защитой к вашей неограниченной власти в Иркутске, — с чарующей улыбкой закончила Ванда.

— Госпожа Пашкевич, будьте спокойны. Пока я не уехал на фронт, я свято буду хранить мое слово. А когда уеду, передам вас под охрану моего заместителя.

Подошел день концерта. В первом отделении оперных артистов были проведены сцены из опер: «Садко» и «Жизнь за Царя». Во втором отделении Ванда, под аккомпанимент оперного оркестра, играла все тот же 2-й концерт Шопена. Успех был потрясающий. Играла она необыкновенно, мо-

жет быть потому, что вспомнила Корси, апостолов музыки, Высокий Двор, Мравина, затонувшую жизнь.

Стоял ясный, морозный день конца декабря. Завтра сочельник. Для Раймонда и Наташи первая елка. По Ангаре пошла шуга. Тепло одевшись, Ванда и Ирина побежали на набережную, где уже был весь Иркутск. Иркутяне никогда не пропускают этого необыкновенного и единственного в мире зрелища, когда своенравная, быстро текущая Ангара сковывается льдом. Снизу, из зеленой воды выплывают колоссальные льдины хрусталья. Они сталкиваются друг с другом, карабкаются одна на другую, сковываются морозом и плывут дальше. Их догоняют другие. Все трещит, блестит, звенит необыкновенным звоном ломающегося льда. Вода борется со льдом. Ангара стала. По всей реке огромные зубцы самых причудливых форм сияют в лучах солнца миллионами сверкающих звезд молодого льда. Ирина и Ванда были потрясены необыкновенным зрелищем, которое наблюдали первый раз в жизни. Румяные от мороза, веселые они вбежали в теплый дом.

— Барыня, вас спрашивает какой-то старичек. Он ждет вас в кухне, — сказала горничная, обращаясь к Ванде.

— Меня? Старичек?

— Вас, барыня.

Ванда сбросила с себя доху, валенки, меховую шапку и побежала в кухню.

— Игнат!.. Игнат!, — воскликнула она, переполненная радостной неожиданностью, и сразу залилась румянцем стыда, что не разу не вспомнила старика.

— Приехал к вам, барыня. Как приказывали. Помните, адрес давали московский. Ну, я значит приехал, а там старики Туркестановы проживали. Хорошие люди. Обогрели, накормили. Денег давали, только я не взял. К барыне, говорю, еду. Ну, они ваш адрес и указали.

— Игнат! Как вы похудели, изменились . . . Вы голодны?

— Нет, барыня, сыт. К старости-то люди все худеют. Дело к вам имею секретное.

— Секретное? — испуганно спросила Ванда. — Ну, пойдемте, пойдемте в мои комнаты.

Они поднялись по лестнице и вошли в комнату. Из смежной комнаты, через открытую дверь, слышался шаловливый детский голос, и другой в чем то убеждающий ребенка.

— Садитесь, Игнат. Как барин?

— Точно сказать не могу. Говорили другие, будто в Италии. То ли в плену, то ли в госпитале. Ногу сломал. Толком не знаю. Письмо секретное должен передать вам, — закончил Игнат, роясь в кармане мехового бушлата.

— Вот, нашел . . .

Ванда с трепетом открыла конверт. Взор упал на подпись — «Андрей Борг». Она прочитала несколько строчек . . . побледнела и крепко прижала к себе подбежавшего на неуверенных ножках ребенка. « С и р о т а » . . . — прошептала она. Теперь, когда ты спросишь меня, где твой отец, я смогу честно смотреть тебе в глаза. Я скажу тебе, что отец твой умер смертью храбрых . . . и это не будет ложью.

Она крепче прижала к себе сына и через его плечо, сдерживая подступившие слезы, куда-то

вдаль продолжала: — «Я мечтала найти Игоря... Теперь я буду искать его могилу. Я поведу на нее тебя...

Ванда передала ребенка Игнату. Раймонд, без обычных детских капризов, легко перешел на руки Игната и, говоря что-то непонятное ему, рученками копошился в его седой бороде. Ванда отвернулась, закрыла лицо руками. Сквозь пальцы текли слезы. Она не пыталась их удерживать. В мозгу молотом стучала мысль — «Он умер в охотничьем домике... том самом... значит вспомнил обо мне... в последнюю минуту вспомнил... любил».

Игнат остался жить у Ванды. Он присматривал за садом, снова выращивал цветы и нянчил Раймонда, как когда-то нянчил его мать.



— Неприятная история. Как это вам удалось так неудачно упасть? Перелом бедра. В молодом возрасте это пустяки, а вот в вашем, сильно подмоченном, лечит только терпение и время. А время сейчас, сами знаете, какое, война, — многозначительно закончил доктор, вставая со стула.

— А как долго продлится лечение? — тревожно спросил Ромуальд.

— Месяцев восемь, девять. Вот полежите в гипсовом бинте, как египетская мумия, потом ванны из отрубей и массаж, потом костыли. Во всяком случае гарантирую, хромоты не будет.

Доктор отдал распоряжение дежурной сестре, тепло простился с Ромуальдом и ушел. Ромуальд остался один. Слова доктора явились для него

нервным шоком, и он так ясно понял ужас своего положения, понял, что физическая боль это незначительная песчинка в страданиях его мятущейся души, наводненной мыслями полного краха жизни. Одно мгновение, и жизнь потонула. Нет воздуха, и нечем дышать, — подумал он.

Прикованный к кровати, он был лишен возможности лично разыскивать Ванду, и это сознание беспомощности приносило ему невыносимые душевные страдания, не оставлявшие его ни днем, ни ночью. Будучи уверенным, что Ванда находится где-то в Европе, он разослал телеграммы во все курорты, где она раньше останавливалась. Ответные телеграммы отняли у него последнюю надежду найти жену и привели к ужасному убеждению, что она застряла или в Германии, или в Австро-Венгрии. Это окончательно сломило его, и временами он был близок к душевному расстройству. Все реже и реже коричнево желтые четки успокаивали тяжелые мысли. А жизнь, равнодушная к людским страданиям, не щадила его. Очень скоро он получил от управляющего подробное сообщение о занятии и полном разграблении немцами Высокого Двора.

... «Не взяли только картины, да и те продырявили штыками при бегстве, при обратном занятии имения русскими войсками. Все разрушено, сожжено. Уцелел только охотничий домик. Снарядом повреждена южная сторона и выбиты стекла. Я с семьей, Рафаил, Аленья и Игнат переехали в Варшаву, в Лозенки. Остальные рабочие и служащие неизвестно где».

— Переехали в Варшаву. И Варшава и вся территория Польши, вклиняющаяся в восточную

Пруссию, очень скоро будут объектом немецкого наступления, — вслух сказал Ромуальд, откладывая в сторону письмо управляющего. В своих предположениях Ромуальд оказался прав. Очень скоро, даже по газетным отчетам, четко определилось тяготение немцев к Варшаве. Стремительным наступлением армия Макензена 25-го сентября взяла Лодзь, подошла к Гройдам и непосредственно стала угрожать Варшаве. Столицу царства польского спасли сибирские стрелки, бросившиеся на немцев прямо из вагонов.

Ромуальд поправлялся медленно и тяжело переживал неудачи на фронте. Он в конце изнервничался и как-то попросил доктора отправить его в Россию, в том состоянии в каком он находился. Старший врач, сухой педантичный англичанин, искривив губы саркастической улыбкой, спокойно ответил ему — «Вы находитесь в стране еще гадающей, на чьей стороне ей будет выгоднее выступить, на стороне немцев или держав согласия. И не удивляйтесь, если в один прекрасный день вы окажетесь их пленником. Мелкие, грязные торговцы! К тому же, насколько мне известно, они никого не выпускают сейчас. Да и путей безопасных нет. Читали в газетах? Немцы объявили морскую блокаду и топят все коммерческие суда. Запаситесь терпением, мой друг.

11-го мая 1915 года Италия вступила в войну союзником держав согласия, и Ромуальд без малейших затруднений получил разрешение на выезд. Проехав Францию, Англию, Швецию и Финляндию, он прибыл в Варшаву в середине июня. В Лозенках он застал растерянных и не знающих, что делать, управляющего, Рафаила и Аленю.

— А где садовник? — спросил Ромуальд.

— Игнат? Был здесь. С месяц, как пропал. Может быть убит. Ушел и не вернулся.

— Жаль старика.

В замке был размещен полевой лазарет, что очень обрадовало Ромуальда. Он жертвенно включился в работу лазарета и в облегчении чужих страданий находил утешение своим. Он, исхудалый, постаревший, щедро раздавал свою ласку и добро измученным людям, героически защищавшим Варшаву. Но не долго длилась пора душевного успокоения. 20-го июля он навсегда распростился с Варшавой и переехал в Петербург. Столица произвела на него гнетущее впечатление. Как будто все оставалось по прежнему, а духовный облик столицы, был другой. Во всех и во всем чувствовалась усталость. Цель войны, защита славянства, становилась непопулярной, и первоначальный подъем сменила апатия у одной части населения, и беспощадная критика Двора, правительства и высших военных кругов у другой. Шли месяцы невероятного напряжения для всей страны. Растянутый, колоссальный фронт жил временными успехами и неудачами, страна испытывала экономический кризис, критика становилась наглой и в своей основе таила опасные симптомы. Третья сила торжествовала близкую победу.

Привыкший всю жизнь работать, видящий в работе оправдание своего существования, Ромуальд мучился бездействием. Он понимал, что именно сейчас, когда его личная жизнь потерпела крах, он должен работать. Используя связи, он в мае 1916 года получил от министерства торговли командировку в Америку для закупки товаров для

армии. Министерство указало ему путь следования через Сибирь на Владивосток. В Иркутске он должен был остановиться на несколько дней для согласования своих дальнейших действий с приемочной комиссией.

Когда нам предстоит дальний путь, то мы обычно, изучая маршрут и остановки в пути, невольно вспоминаем временно забытых нами людей, составлявших когда-то часть нашей жизни. Так и Ромуальд вспомнил, что в Иркутске живет его товарищ по университету Станислав Кломинский. Будучи уже горным инженером, он включился в подпольную революционную работу и за участие в одном политическом покушении был сослан в Сибирь. Он уже давно отбыл свое наказание, давно раскаялся в юношеских ошибках и сейчас был главным инженером в компании Бодайбинских золотых приисков, однако без права выезда из Иркутска.

Приехав в Иркутск, Ромуальд легко нашел Кломинского и остановился у него. Встреча была теплая и насыщенная воспоминаниями навсегда затонувшей молодости.

— Да, Роми, жизнь прошла. Расстались молодыми, встретились стариками. Я не могу пожаловаться на закат жизни. Я богат, уважаем в обществе и люблю Сибирь. Понять ее широту, ее необъятную прелесть, ее действительно больших людей, нужно время. Я имел его достаточно. Пять лет, как я осиротел. Умерла жена, кондовая сибирячка, прекрасная женщина. И вот в память ее не хочу начинать новой жизни. Боюсь, будет фальшивая. Да, между прочим, у нас в Иркутске сравнительно недавно появилась твоя однофамилица. Не

совсем однофамилица, она носит двойную фамилию. Прекрасная, загадочная женщина. Так до истины никто докопаться и не может. Необыкновенная красавица и необыкновенная монашка. Зимой в городском театре выступала в концерте. Успех потрясающий. Давно такой музыки не слышал.

— А как ее фамилия?

— Ванда, Пашкевич-Заком.

— Станислав, дорогой! Да ведь это моя жена. В начале войны я потерял ее. Искал в Европе. Где она? Ты знаешь ее адрес? Да говори же. Что ты молчишь?

— Конечно знаю. Она живет у моего сослуживца инженера Туркестанова. По моему сейчас на даче, в Смоленщине, в сосновом лесу. Подожди, я по телефону спрошу Туркестанова.

Ромуальд, охватив голову руками, неподвижно сидел с закрытыми глазами, стараясь привести в порядок скачущие мысли.

— Да, в сосновом бору за Ушаковкой. Да как все это случилось? Как ты мог потерять ее? Не булавка.

— Я сам не знаю. Я был в отъезде. Вернулся домой. Мне сказали, что она уехала в Европу. Я в Европу... Война... Потом все расскажу. Как мне добраться до дачи?

— Очень просто, на извозчике. Скажи, на дачи Цукасова. Каждый извозчик знает. Она живет там с сыном. Чудный мальчишка. На тебя похож.

— Ты прости меня, я должен ехать. Потом все расскажу.

— Подожди, я провожу тебя, посажу на извозчика, и сам объясню все.

.
— Вот и Цукасовские дачи, барин, — сказал возница, сдерживая лошадей.

— Хорошо. Ты подожди меня здесь, — ответил Ромуальд, выходя из экипажа и углубляясь в расчищенный сосновый лес. Несколько беленых домиков-близнецов, произвольно разбросанных в лесу, смотрели на него с разных сторон. Он на мгновение задумался и пошел по направлению услышанного им детского смеха. Скоро он увидел маленького мальчика с кудрявой головкой, копошившегося в песке. На ступеньках лестницы, ведущей в дом, сидела женщина.

— Ванда! — вырвалось у Ромуальда. Он прибавил шагу.

Услышав чьи то шаги, Ванда подняла голову и на момент оцепенела. Она чувствовала, что теряет сознание, куда-то проваливается. Она пыталась встать и не могла. Подбежавший Раймонд вывел ее из забытья. Она крепко прижала сына к себе и, овладев собой, спокойно смотрела на приближающегося, как видение, Ромуальда. Она ужаснулась перемене, происшедшей в нем. Вихрем несущиеся мысли сложились в мозгу в ряд вопросов. Почему сгорбленный старик? Почему хромота? Почему потухшие виноватые глаза, осунувшееся лицо? Жалость залила ее сердце, она низко опустила голову. Она слышала, как остановился Ромуальд. Он несколько раз пытался начать говорить и от волнения не мог. Тяжесть молчания была ужасна для обоих, а притихший на руках

матери Раймонд бессознательно подчеркивал важность и серьезность момента.

— Бог сотворил чудо. Дал мне радость найти вас. Как нищий, я стою перед вами и прошу вашей милостыни. Большой милостыни. Не для себя прошу. Прошу для вашего сына. Он должен иметь имя. Он должен носить имя графа Заком.

Голос Ромуальда дрогнул. Потухшие глаза заискрились искрами наворачнувшихся слез. Губы, бесильные произнести слова, нервно шевелились. Ванда глазами полными слез восторженно смотрела на мужа.

— Я отдам ему небольшой остаток своей жизни... Отдам, как отец. Он никогда не должен знать правды о своем рождении. Он гордо будет носить мое имя, и я буду любить его, как люблю вас.

Ромуальд низко опустил голову и закрыл лицо руками. Он тихо плакал, и через эти слезы, стыдливо прикрытые руками, Ванда почувствовала прощение. Подавленная благородством мужа, она хотела броситься к нему, целовать его руки, но, считая себя недостойной приблизиться к нему, погасила свой порыв.

— Роми, теперь вы поняли меня!

— Не надо вспоминать... Я два года везде искал вас, чтобы сказать одно слово... «простите». Через неделю я уезжаю в Америку. Ваше решение или вернет мне счастье жизни, или повергнет в бездну горя.

Через десять дней Закомы и Игнат уехали в Америку.

ЭПИЛОГ

Каждый человек, пока живет, фактически читает книгу своей жизни. И эти книги, так же как люди, бывают хорошие и плохие. Но каждая книга жизни, независимо от того, какую обложку человеческих страстей она имеет, начинается прекрасной чистой главой детства и кончается исходом из жизни — смертью.

Прибывшие в Нью-Йорк Заком начали читать новую, по законам человеческим несколько необыкновенную, главу своей жизни. После ужасной грозы, сломавшей жизнь, отнявшей веру и уважение друг к другу, наступил яркий солнечный день жизни. И солнцем новой жизни, одинаково дающим тепло и мужу и жене, был маленький Раймонд. Заком зажили семьей, и из жизни ушел личный эгоизм. Для них родился общий эгоизм — ребенок. И трудно сказать, кто в новой жизни был духовно богаче, Ромуальд, не являвшийся отцом Раймонда, или Ванда, одинаково отдававшая свое тепло, заботу, ласку мысли сыну и мужу.

Имея в Америке большие деньги, Ромуальд, как сюрприз для жены, купил роскошный особняк в тихой части Нью-Йорка. Он сам обставил его, обо всем позаботился, даже об Игнате, которого полюбил Раймонд. Для «гувернера», как в шутку он называл Игната, наверху была отделана

большая светлая комната, а сам Игнат с переездом в новый дом сделался членом семьи. Этот дом Ромуальд подарил жене в день ее рождения. Ей вспомнился охотничий домик, свадебный подарок мужа. Она закрыла лицо руками и тихо заплакала. Раймонд подбежал к Ромуальду и с удивлением пролепетал: — Папа, почему мама плачет? Ромуальд подхватил на руки ребенка.

В природе человека есть непонятная еще нами тайна. Сильное горе и сильная радость выражаются одинаково — слезами. Есть слезы горя, но есть и слезы радости. Чувство, как будто доходя до своего апогея заканчивает какой-то круг и приходит к одной точке, замыкающей интенсивность доступного человеку волнения. Большая радость, как и большое горе, заканчивают напряжение сердца слезами. Ванда обняла мужа и сына. Все трое плакали. В отдалении, большим цветным платком, вытирал тихие слезы Игнат.

Шли годы, и новый дом жил новым счастьем, тихим и ясным. Ромуальд, оставаясь наедине со своими мыслями, уже давно пришел к заключению, что это были лучшие дни всей его жизни и печалился тем, что их осталось так мало. Он чувствовал свои 72 года, и легкие недомогания, все чаще навещали его. Ванда полностью отказалась от личной жизни, и вся ушла в заботу о сыне и мужа. Подросший Раймонд уже ходил в начальную школу и вступил в пору подконтрольного детства. Уроки русского языка и музыки с мамой, математика, география, история с папой, однако казались ему совершенно ненужными. Больше всего он любил рассказы, игры и прогулки с Игнатом.

Ромуальд серьезно заболел. Врачи настаивали на переводе его в госпиталь, а он наотрез отказался. Вечером, когда Ванда пришла его кормить, она осторожно и мягко снова подняла вопрос о госпитале.

— Пойми Роми, тебе там легче будет. Госпитальный режим и постоянное наблюдение врачей скорее принесут тебе выздоровление.

— Мы достаточно богаты и можем устроить госпиталь здесь, вот в этой комнате. Моя болезнь не требует операции, и пусть эти предвестники смерти в белых халатах лечат меня здесь.

— Ты упрямисься, милый, а это показатель улучшения твоего здоровья, — тепло сказала Ванда, рукой поглаживая седые влажные волосы мужа.

— Как ты не понимаешь. Врачи хотят лишить меня главного лекарства. Здесь я всегда вижу тебя. Чувствую Раймонда... гувернера. Хороший цельный старик. Вот и простой, полуграмотный, а душа чистая.

Положение Ромуальда продолжало ухудшаться. Сильно ослабела деятельность сердца, и врачи уже давно сказали Ванде, что печального исхода болезни можно ждать каждый день, каждый час. Ванда ни днем, ни ночью не отходила от кровати мужа. В моменты просветления, он, чувствуя свой уход, тихо советовал ей, как дальше надо воспитать и образовать Раймонда.

Было воскресенье. Стоял ясный осенний день, яркий и прохладный. После обеда Раймонд с гувернером уехали в парк, к озеру. Ромуальд чувствовал себя лучше и временами даже шутил.

Исхудалое лицо часто отражало болезненную улыбку и, заливая комнату ярким светом, в большие окна улыбалось солнце. В смежной комнате слышались быстрые шаги, и к больному вбежал раз-румяненный Раймонд.

— Папа! Это тебе, я у озера собрал, — звонко сказал он, передавая Ромуальду маленький пучек розовых маргариток.

— Папа! Как интересно на озере. Какие утки: разноцветные, большие, маленькие. Как они долго на воде плавают! Я бы утонул. Да, скажи Игнату, чтобы следующий раз хлеба взял. Все кормили уток, а у нас не было хлеба. А два лебедя, один черный, другой белый. Ты никогда не рассказывал мне про лебедя. Когда поправишься, расскажешь?

Ромуальд, крепко зажав в руке маргаритки, гладил курчавую головку ребенка.

— Раймонд! Пойди вымой руки. Игнат, скажите, чтобы давали чай. А после за уроки, — ласково сказала Ванда, обнимая сына.

Раймонд поцеловал костлявую руку Ромуальда и вышел из комнаты.

— Роми, дай мне цветы, я поставлю их в воду. Правда чудные?

— Не надо в воду. Я подержу их. Самые дорогие маргаритки.

В 10,30 вечера Ромуальду сделалось плохо. Он стал задыхаться, жаловаться, что ему не хватает воздуха. Открыли окна. Сестра сделала ему вливание. Он притих и успокоился. Ванда спросила его что-то. Он не ответил. Остановившиеся глаза смотрели в одну точку на потолке.

— Я слепну... Ничего не вижу... Но вижу тебя... честную... светлую... прекрасную... Береги Рай...

В 11,07 ночи, с маргаритками в правой руке, граф Ромуальд Заком закрыл книгу своей жизни.

Ванда тяжело переживала смерть мужа. Ушло из жизни то светлое, что наполняло ее жизнь теплом. И тяжестью утраты было сознание, что это тепло уже никогда не вернется. Облегчал ее страдания Раймонд. За последнее время он как то быстро развивался и физически, и духовно. Ванда замечала в нем что то новое, чего раньше не было. В мальчишке проявлялись чисто мужские черты. — Это Ромуальд успел ему дать, — думала Ванда, — а, может быть, наследственное от Игоря.

Так шли года. Раймонд подошел к возрасту, когда считал себя старым, чтобы называться мальчиком и слишком молодым, чтобы быть мужчиной. Ванда, вся без остатка, была залита счастьем матери. Она гордилась сыном, что он умен, красив, талантлив, честен, порядочен. Окончив колледж, Раймонд поступил в университет и избрал специальность инженера-электрика. Вихрем промчались четыре года упорной работы. Раймонд Заком первым окончил университет, получил хорошее место в крупной компании и вступил на жизненный путь широких возможностей.

Дом Ванды Заком широко праздновал день окончания сыном университета. Съехалась прекрасная, чистая, еще не тронутая ложью жизни, молодежь и, наблюдая сына в угаре окружавшего всех непосредственного молодого веселья, сознания Ванды впервые коснулась мысль неизбеж-

ного для матери закона. Ей вдруг стало ясно, что какую-то из этих белых, голубых, розовых барышень он скоро возьмет за руку, и они вместе пойдут по пути жизни. Она останется одна. Эта мысль, неожиданно охватившая ее приносила ей страдания, о которых она не смела и не могла сказать сыну. Ее ревнивые чувства к сыну значительно успокоились, когда отношения матери и сына приняли форму дружбы.

.

С момента начала первой мировой войны прошло двадцать лет. В поисках правды жизни, Мравин нашел себя. Несметно богатый, он посвятил себя служению русским людям, шквалом революции рассеянным по лицу всего мира. Постоянно проживая в Париже, он, не жалея личных средств, поддерживал церкви, школы, поощрял дыхание русской культуры и искусства, искал везде подлинную нужду и помогал нуждающимся, сам оставаясь в тени. Он уже две недели, как был в Нью-Йорке. Удачно закончив свои коммерческие дела, он радостный вернулся в свой отель и развернул русскую газету. Первая страница была занята цветным объявлением грандиозного бала-маскарада в пользу прибывающих из Европы русских эмигрантов. Взор остановился на напечатанной жирным шрифтом приписке в конце объявления.

«Костюмы не обязательны. Маски обязательны для всех».

— Интересно. Интригующе. Надо поехать. Надо помочь, — подумал он. После завтрака, он сходил в магазин, купил черную маску и легкие черные кружева. Вечером, одев фрак, он подошел к

зеркалу, примерил маску и улыбнулся. Ему было шестьдесят лет. Серебро седины уже тронуло его виски, но что значит счет лет? Ничего. Он чувствовал себя молодым душой, чувствовал таким же, каким он был двадцать лет тому назад.

Огромные освещенные залы были заполнены нарядной публикой и все были в масках. Мравин с трудом добрался до полутемного бара и чуть приподымая кружево маски допивал свой коньяк.

— Дайте мне, пожалуйста, содовой воды, — попросила голубая маска, подходя к бару.

Что-то знакомое послышалось в голосе голубой маски. Мравин, отставив коньяк, пристально посмотрел на незнакомку. В зале слышались звуки вальса.

— Пользуясь правом маскарада, черная маска берет на себя смелость пригласить голубую на танец, — сказал Мравин, опустив почтительно голову.

— Голубая, по тем правилам считает себя не в праве отказать черной.

Они вошли в полутемный зал. Мравин обнял талью незнакомки и в такт музыки они поплыли по блестящему паркету.

— Ваш голос удивительно напомнил мне голос женщины, сыгравшей в моей жизни роковую роль.

— Обычная, но интересная завязка для маскарада.

— Это было давно. Двадцать лет тому назад. Было в Польше. В имении Высокий Двор.

— Игорь! — воскликнула Ванда, срывая с себя маску.

— В а н д а !

— Игорь! Я не верю... Это чудо... Этого не может быть... Я не могу находиться здесь, среди людей... Пойдем, пойдем... поедem ко мне...

Они взяли такси. Машина неслась по улице, залитой вертящимися огнями разноцветных реклам.

— Я все еще не верю, Игорь.

— Я сам не верю своим глазам, Ванда. Прошло так много времен...

— Ведь я получила письмо от какого-то Андрея Борга. Он писал мне, что ты умер в охотничьем домике. Я разыскивала его, чтобы узнать где твоя могила. Мне сообщили, что он убит. Я все это время молилась за тебя. Просила тебя простить меня.

Машина остановилась. Мравин рассчитался с шофером.

— Пойдем, скорее пойдем, — торопливо повторяла Ванда. Они вошли в гостиную. — Садитесь Игорь, садитесь сюда. Я зажгу только эту лампочку. Ведь и в темноте может быть светло, когда светится душа, — сказала она, протягивая руки к Мравину. Руки безжизненно опустились. Она не знала, имеет право обнять его или нет. Она отошла к роялю. Послышались тихие слезы. Мравин сделал попытку встать и подойти к ней.

— Не надо... сиди... Наконец, после многих лет я могу высказать все, что так долго мучило меня. Я страдала от мысли, что так жестоко оскорбила вас... Но тогда это было необходимо, поймите... Я иначе поступить не могла. Я думала, что вы легко забудете меня... о себе я не дума-

ла... в тот момент я была как в чадy... После мне стало так ясно и так бесконечно больно... Я не понимала, что произошло со мной. Я думала только, что мой ребенок должен быть похожим на вас... именно на вас... Я не сознавала тогда, что полюбила вас глубоко и навсегда. Сознание пришло слишком поздно... но ведь я была молода, неопытна, я не знала, не понимала сама себя... Я не пытаюсь оправдать себя. Я достаточно перестрадала, но мне не хотелось бы, чтобы вы осудили меня теперь. Я думала, что ребенок, которого муж не мог дать, сохранит мне жизнь и теплые отношения с мужем. Но я ошиблась. Он не понял меня, он оскорбил не только меня, это я могла перенести... он оскорбил моего ребенка... И я вскоре почувствовала себя морально свободной. Я думала о вас... хотела найти вас... вернуть... но мне принесли это ужасное письмо, в котором сообщалось о вашей смерти... Я потеряла вас во второй раз... Я хотела найти вашу могилу, не для себя... для вашего сына... Но все смешалось на свете. Ничего уже нельзя было надеяться найти. Меня спасло от отчаяния то, что муж, наконец, понял меня и вернул мне свое уважение и любовь. Это был благородный человек, высокой души, настоящий подвижник... Я потеряла его десять лет тому назад. Но я осталась верна вам.

В передней послышался звонок. Ванда вздрогнула и побледневшими, дрожащими губами прошептала. Это он... он... Я знаю его звонок. На вопросительный взгляд Мравина она тихо но решительно добавила: — «НАШ СЫН». В комнату вошел, или вернее вбежал молодой человек.

— Мама, прости. Я обещал, но не приехал на маскарад. Случайно встретил Нанси... Остальное тебе все понятно, — закончил он, обнимая и целуя мать.

Мравин, стоявший в стороне, вздрогнул. Что это?.. Жизнь, неожиданно как будто отбросила назад прошедшие годы. Что такое? Или это зеркало, в котором застыло отражение былого?

Перед Мравиным стоял он сам... он сам, каким он был много лет тому назад. Охотничий домик... нет еще раньше... великая княжна... молодость, радость жизни до того, как вмещались в нее ошибки... до того, как осквернила и запутала жизнь житейская ложь. Точно во сне Мравин услышал голос Ванды: — Раймонд, ты не знаком. Игорь Константинович Мравин, мой старый друг.

— Очень приятно встретить старого маминного друга. Граф Раймонд Заком, — отрекомендовался молодой человек, радушно протянув Мравину руку.

— И я счастлив увидеть вас... Граф Заком... Я хорошо знал вашего отца... — закончил Мравин, крепко сжимая руку Раймонда.

— Простите! Мама, я голоден как волк. Ведь мы все время с Нанси гонялись на автомобиле.

— Пройди в столовую. Тебе все готово, — чуть слышно ответила Ванда, взглядом провожая сына.

Мравин и Ванда некоторое время стояли молча, глядя друг на друга.

— Как он похож на тебя, Игорь. Как две капли воды. Как же будет теперь?

— Я должен уехать, — медленно, но твердо сказал Мравин. — Ведь он не может не заметить

сходства... Он догадается... Да? Ванда, я никогда не забывал тебя. Я люблю тебя и сейчас... Но мой сын навсегда должен сохранить уважение к матери и к тому великодушному человеку, чье благородное имя он носит. Он заменил ему меня... Он был ему настоящим отцом... А я... мы совершили ошибку. Мы были молоды, не знали жизни, мы не понимали, что делали... Но моя вина неизмеримо больше. И теперь для меня настал час расплаты. Во имя любви к тебе, во имя любви к нашему сыну я должен уехать. Это мой долг перед ним и перед вами.

Игорь привлек к себе Ванду и поцеловал ее в лоб.

— Берегите молодого Заком. Он дорог мне так же, как вам.

Скрипнула дверь. Зловещая тишина наполнила комнату. Ванда, опустив голову, стояла неподвижно в глубокой задумчивости. Вбежал Раймонд.

— Мама! А где же твой друг? Ты знаешь, он с первого взгляда мне понравился.



Author's Address
Geo. Ishevsky
245 — 11 th Avenue, Apt. 202
San Francisco 18, Calif.

Price

45,-